



ВЛАДИМИР МАРКОВ
ПОЭЗИЯ И ОДНОСТРОКИ

VLADIMIR MARKOV
GEDICHTE UND EINZEILER

FINK VERLAG
MÜNCHEN



REINHARD LAUER

Centrifuga

Russische Literatur in Neu- und Nachdrucken

In Zusammenarbeit mit

Karl Eimermacher, Johannes Holthusen,
Reinhard Lauer und Vladimir Markov

Herausgegeben von

Friedrich Scholz

Band 51 1983

ВЛАДИМИР МАРКОВ
ПОЭЗИЯ И ОДНОСТРОКИ

VLADIMIR MARKOV
GEDICHTE UND EINZEILER

Mit einer Einleitung

von George Ivask

herausgegeben

von Friedrich Scholz

WILHELM FINK VERLAG
MÜNCHEN

ISBN 3 - 7705 - 2046 - 7

© 1984 Wilhelm Fink Verlag, München

Gesamtherstellung: Ferdinand Schöningh, Paderborn

Printed in Germany

F. SCHOLZ Zum Geleit	6
Ю. Иваск. Нежная поэзия Владимира Маркова .	7

Поэзия

Словно на открытке для туриста (1944) . . .	16
Конец войны (1945)	17
Обычных слов боимся мы с тобою (1946) . .	18
Белый траур (1946)	18
День за днем (1946)	20
Стихи (1947)	21
Подъезжая к Америке (1949)	84
Лосанжелосский верлибр	85

Поэмы

Гурилевские романсы	87
Поэма про ад и рай	127

Одностроки

Одностроки	143
----------------------	-----

Воспоминания

Et ego in Arcadia	147
Примечания. Разночтения	171

ZUM GELEIT

Damit über dem Gelehrten, dem verdienstvollen Literaturwissenschaftler und Herausgeber, auch der eigenwillige Dichter Vladimir Markov nicht vergessen werde, möchten die Mitherausgeber der CENTRIFUGA einen Band dieser Reihe, die ihm so viel zu danken hat, im Jahre 1980, in dem sich am 24. Februar sein Geburtstag zum sechzigsten Male gejährt hat, seinem dichterischen Schaffen widmen. Dieser Band soll eine interessante und wichtige Stimme im Konzert der russischen Dichtung der Emigration in ihrer ganzen Fülle zum Klingen bringen und Zeugnis davon ablegen, wie auch unter den schwierigen Bedingungen des Exils das große Erbe der russischen Lyrik bewahrt und in neue Richtungen weiterentwickelt zu werden vermag.

Münster, im Juni 1980

Friedrich Scholz

НЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ ВЛАДИМИРА МАРКОВА

Владимир Федорович Марков, профессор Калифорнийского университета — один из самых выдающихся литературоведов-русистов в США. Его знают, ценят и в академических кругах Западной Европы, а также кое-кто в России, где, по понятным причинам, отзывы о его трудах не появляются. Он автор английских книг — о поэмах Хлебникова, монументальной монографии по истории русского футуризма и многочисленных статей, рецензий на русском, английском, французском, немецком языках.

Мало кто знает: Владимир Марков не только видный ученый, но и замечательный поэт. В первом его сборнике кое-что навеяно Блоком, Кузминым, Гумилевым. Вместе с тем, в этой еще незрелой книге намечены главные темы поэзии Владимира Маркова:

Первая — это *она*, единственная возлюбленная (но на Прекрасную Даму Блока нисколько не похожая):

Любимая... любимая... любима,
не надо о любимой говорить...

Все же, он о ней говорит и всегда целомудренно.
Вторая тема: поэзия. Марков мечтает:

Писать стихи, простые, как трава,
Которую ты топчешь под ногами...

Намечен в этой первой книге стихов и ведущий мотив — о любви-нежности и пушкинской светлой печали.

Осип Манделштам писал о Батюшкове: «Батюшков нежный со мною живет...»

Владимир Марков тоже нежный поэт.

Ранние обещания Марков сдержал в *Гурилевских романсах*. Эта поэма написана одним дыханием. Та же лирическая фраза разворачивается в сотнях стихов (всего их около тысячи).

Есть в этой поэме едва намеченная фабула повести о двадцатилетнем декабристе. Ему, после событий 14-го декабря 1825 г., удалось бежать из Петербурга, и он приезжает в усадьбу знакомого помещика. Гостя встречает его жена. Безымянные герой и героиня поэмы полюбили друг друга, но их нежность не перешла в страсть. Они расстаются. Жизнь у них не состоялась, как не состоялась и революция в Петербурге, где все «Так бездарно получилось...» Фон поэмы: Россия 20-х гг. минувшего века — не имперская, парадная, а оппозиционная и интимная — неудачливых бунтовщиков и любовников. Маркову удалось легко, без резких контуров, наметить быт старой усадьбы, где дворянские липы нашептали ему поэму. Дóроги ему не только липы, сафьяновые альбомы, старые клавесины, черные локоны, но и многие не столь поэтические вещи: некрасивая ольха, залетевшая муха. Дóроги:

У стола дорожки трещин,
У людей — морщинок сетки.

В поэме звучит не холерический, а меланхолический хорей. У Маркова хорей присмирили, тихо поют

и чем-то напоминают эти незатейливые плещеевские стихи.

У Плещеева: Как мой садик свеж и зелен...

У Маркова: Как снежок на шее тает...

Стихи (за немногими исключениями) — белые, с женскими окончаниями. Почти нет рифм (контуров), сильных ударений (в мужских окончаниях), и кажущаяся незавершенность стиха соответствует зыбкости поэмы. Ведь и герои, и быт явлены в легких очертаниях, в полусне, похожем на явь, и здесь действительность как будто не подчиняется законам притяжения. Поэтому все предметы, тела лишены веса. Есть вечность в поэме, но нет вескости.

Да, все в *Гурилевских романсах* видится, слышится в тумане, но не абстрактно, а явлено —

В дрожи запаха и красок...

Эта приснившаяся старина, эти благородные обреченные герои — для Маркова реальнее советского кошмара 30-х гг. — в эпоху сталинщины-ежовщины, когда ему с немногими товарищами-студентами удалось замкнуться в хрупкой «Аркадии», где эти юноши жили преимущественно поэзией и музыкой, за что их укорял секретарь комсомольской ячейки. Они даже мечтать не смели о каком-нибудь новом декабрьском бунте, но с них понемногу сходило все чужое, навязанное — не только коммунизм, но и советчина (подлость и пошлость рабов). Об этом Марков писал в своих воспоминаниях *Et ego in Arcadia*.

И вот, наряду с теми двумя героями, в *Гурилевских романсах* появляется похожий на Маркова юноша: благородный, нежный и как будто обреченный советскими людоедами на заклятие. Но, к счастью, Марков — двойник того декабриста, — выжил и стал маститым ученым в США.

Может быть, кое-кто упрекнет Маркова в эскапизме. Но в Петербурге, ставшем Ленинградом, не было того, что Марков больше всего ценит: нежности и благородства. Эти качества, пусть и проецированные в далекое прошлое — драгоценные и вневременные свойства души.

При этом, старая вольнолюбивая Россия помогала Маркову внутренне освободиться от тоталитарного рабства в СССР. Так что это не эскапизм, а своего рода дезинфекция — уничтожение вредных бактерий Октября очистительными средствами Декабря. Пусть Октябрь и победил, но Декабрь может дать реванш: и благородство одолеет подлость.

Марков признается:

Я люблю одну Россию,
Невозвратно дорогую.

Иногда он даже сомневается: да существовала ли эта Россия сто лет тому назад... Может быть: «Мы придумали Россию», читая Батюшкова, Пушкина и напевавшая урилевские романсы! Но в поэме столично-усадебная Россия на самом деле живет пусть и в лирическом сонном видении и — умудряет, ободряет, освобождает.

Эмигрантские критики-поэты положительно отозвались о *Гурилевских романах* — Г.В. Адамович, Ю.К. Терапиано (а также и я). Маркова приветствовали Георгий Иванов и Ирина Одоевцева. В этой поэме можно услышать т. н. парижскую ноту, и она соответствует «канону» Адамовича, призывавшего писать просто, незатейливо, без авангардных ухищрений.

Обстановка, быт, герои — 20-х гг., но нет стилизации (как в недавно переизданной Г.П. Струве *Авроре* Георг-

гия Маслова). Язык — простой, незаметный, без архаизмов. А мотивы меланхолии, резиньяции характерны для романтизма и сентиментализма той эпохи (для первой четверти прошлого столетия).

Еще отмечу: стихи Маркова в *Гурилевских романах* не опьяняют, нет в них хмеля, но они могут утолить жажду не вином — Аи или Асти, а ключевой водой. Между тем, многие читатели стихов вино предпочитают воде.

Вторая поэма Маркова — *Поэма про ад и рай* — громче, смелей, размашистей *Гурилевских романсов*, но из этого не следует — лучше. Единого дыхания в ней нет. В вводных строфах — разговор лирического героя с апостолом Петром. Святой вратарь после долгого препирательства впускает его в рай, где — он в этом уверен — ему суждено встретиться с ней — Ладой:

Вскричу: — Раз тут святые,
Она наверно тут.

Он и она встречаются.. Рай вроде России, там растут ромашки, лютики, и там проходит Садовник (Христос). Все перед ним печально склоняются. Как будто понимают — мир неискупим и нет райской радости. В длинном монологе герой мечтает вернуться с Ладой на землю.

Там мы

Найдем с тобою угол,
Где ни людей, ни блох,
Укромная лачуга,
Собаки, ты да Бог.

Лада его любит, но мечты возлюбленного о возвра-

щении на землю, о поэзии добра и света отвергает, и герой навсегда покидает подругу.

В легких трехстопных ямбах* второй (рифмованной) поэмы Маркова есть увлеченность, есть хмель, но и звучат те же знакомые нам по *Гурилевским романсам* мотивы нежности, благородства. В заключительных строфах слышится щемящая лирика сердца:

Прости-прощай, подруга!
Мне скука не впервой.
В аду найду я угол
И притворюсь, что свой.**

Марков — ученый литературовед занялся не изучением близкой ему, поэту, поэзии пушкинской поры или чем-то родственной литературы русской эмиграции 30-гг., а больше всего внимания уделил футуризму — экспериментальной поэзии авангарда — далекого, чуждого поэзии сердца. Так, Марков-профессор разошелся во вкусах с Марковым-поэтом. Но удачи были и у того, и у другого.

* Отмечу: в *Гурилевских романсах* встречаются редкие по ритмическому рисунку хорей. В чертырёх стопах только два ударения на первой и третьей стопе (/---/---). Как будто сердце поэта отказывается во время стукнуть и — падает. Это лирическое волнение и задыхание нарушает, но и оживляет традиционный четырёхстопный хорей.

** В этой очень удавшейся строфе внутренняя рифма (В аду — найду) и пять воющих «у» — подчеркивающих мотивы грусти, разлуки! Но эта не только техника. Есть в этих стихах простота народной речи (*впервой*), а в первой строчке (Прости-прощай, подруга) мне слышится отзвук солдатской песни. Здесь «искусственность удачно сочеталась с безыскусственностью».

В русском очерке Марков собрал стихи-одностроки, блестяще их комментировал и сам дал несколько примеров этого лаконического жанра. Лучший из них: «Спаси ее. Прости меня.» Этот молитвенный стих — эпилог к двум его поэмам.

Март 1980г.

Amherst, Massachusetts

ПОЭЗИЯ

Словно на открытке для туриста —
Городок, весь в виллах, весь зеленый,
Но уже — осенние тона.
Всё уютно, по-немецки чисто;
Только горные лесные склоны
Прикрывает утра пелена.

Небо серое молчит угрюмо,
На бульваре хмурые деревья
Плачут листьями на тротуар.
В уголки души забились думы;
Я устал от вечного кочевья,
Иногда мне кажется: я стар.

Все это пока еще новинка.
Может быть, сочтя всю жизнь ошибкой.
Скажешь с горечью потом: не то.

.

На вокзале — бледная румьинка,
С грустной, но кокетливой улыбкой,
С меховой оборкой на пальто.

1944

Конец войны

Ночью в старом парке строил планы я
И при свете красного костра
Слушал чьи-то речи. полупьяные.
Слава Богу, это всё вчера.

А сегодня липы многолетние
Солнцем капают сквозь листьев вязь,
И тревога стала незаметнее,
А потом и вовсе улеглась.

И в тоске, с веселым чем-то смешанной,
Я гляжу на крыши городка,
Удивляюсь, для чего так бешено
Подо мной внизу бежит река.

Что ж? Опять листаю жизни главы я
На мосту высоко, — не в реке;
Жизнь опять шумящею Молдавою
От меня несется вдалеке.

По путям, судьбою разлинованным,
Смутно чей-то чувствуя приказ,
Словно в сказке, принцем заколдованным,
Мне брести уже не в первый раз.

И взглянув с моста на путь свой пройденный,
Спрашиваю лишь у городка:
Здесь ли потерял навек я родину
Иль еще надеяться пока.

1945

Обычных слов боимся мы с тобою;
Когда ж принудит радость или боль,
Мы выбираем слово, но другое,
Чтоб только непрямою. исподволь.

Я говорю: поближе быть к тебе;
Ты говоришь: нас друг ко другу тянет.
Наверное, смешно седой судьбе;
Она за нашим брачным ложем станет,

Следя скульптурные причуды сна,
И, наконец, склонившись к изголовью.
Прикажет ласково:
Всему есть имена,
И это надо называть любовью.

1946

БЕЛЫЙ ТРАУР

Дворцовый мост, ростральные колонны;
Спокойный, влажный и печальный снег;
Осунувшийся, бледный человек,
С умершим взглядом, больше не влюбленный.

Вся жизнь — в снегу: от первых поклонений
Сквозь маски прорезь, цокот рысака,
Сквозь разудалье вьюжных песнопений
До этого последнего куска.

Уже не мученик, не грешник, не мессия, —
Он весь застыл и ничего не ждет.
Последняя любимая — Россия —
Ушла с другим и больше не придет.

Без всяких спазм, агоний и конвульсий
Он задохнулся в жизненной тоске,
Сам не заметив, что не бьется в пульсе,
Что снег уже не тает на щеке . . .

Двадцатый год — в кострах на перекрестках,
Голодный, грустный, снежный и пустой;
А завтра все растает в грязных блестках,
Стечет ручьем, впитается землей;

Но никакой июльский желтый зной
Лед смерти не прожжет, он это знает —
И строки ненаписанные мной
В его мозгу безжизненно всплывают.

Ведь если б не был снег ленив и пресен,
Ведь если б, неожиданный, шальной,
Прорвался ветер отзвучавших песен,
Ъму почудились бы мы с тобой.

Но ветра нет. Глаза смортьеть устали.
Нева сквозь сумрак серо-голубой
Глядит немymi пятнами проталин,
Как через двадцать лет на нас с тобой.

И нам с тобой привычно-ясным станет,
Что и не надо в душу допускать
Раскаты войн и зарева восстаний,
А только с новой грустью вспоминать
Февральский снег, что падает без цели
В усталых мокрых хлопьях без конца
На воротник, на скользкие панели,
На неподвижные черты лица.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Кружка водки, хлеб заплесневелый.
Грязный пол и надпись на стене
Пусть все так. Кому какое дело? —
Все равно ты не придешь ко мне.

Но по где-то данному обету
Магомст пойдет к своей горе.
Что ж еще и делать-то поэту
В пасмурном немецком сентябре?

Снова находить мечту в знакомом,
Снова строить к близости мосты,
Снова медлить уходить из дома
В час, когда сливаются черты.

А потом хромать по тротуарам,
Рифмы, строчки из себя тянуть,
Ослепляющим всю душу фарам
Машинально уступая путь.

Так, бредя по свету наудачу
По обломкам сброшенных культур,
Кажется и я нашел задачу —
Я, последний в мире трубадур.

1946

Владимир Марков

СТИХИ

«ЭХО»

1947

II

Тряпке — валяться под лавкой.
Вазе — стоять на столе.
Пришпилен английской булавкой
Я к счастью на этой земле.

Оно дорогой шальнойю
Летит по летам „mit mir”.
Раскинулся подо мною
Картинкою в красках мир —

Соборов поющие шпиди,
Озера зыбкий овал.
Я к счастью только пришпилен,
Но в губы не целовал.

Мне неизвестен тариф мой,
На нитку еще не нанизан.
Мне трудно даже рифмой
Приклеиться к слову жизнь.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАСНУТЬ

В окне совсем темно. Слипаются
глаза.
По радио—Москва: хрипит и всех
ругает.
Вот здесь сидела ты, всего лишь час
назад—
Красивая, холодная, другая.

В окне
„навис покров угрюмой ночи”.—
Когда-то так писал один большой поэт.
Наверно, в жизни все гораздо проще.
И только я мудрю, мудрю... Иль нет?

Быть может, было так всегда,
во всех столетьях,
Как эта ночь, что смотрит мне в окно?
Ты все равно...
ты лучше всех на свете...
ты лучше всех...
ты лучше...
все равно.

Все, что в жизни осталось нам:
Собирать по дорогам цветы,
Тосковать по хорошим стихам,
Называть кого-нибудь „ты“.

То, что скрылось, что там, что „за“,—
Дочитай—и на полку в шкаф;
Да почаще смотри мне в глаза
Светлым взглядом вянущих трав.

Разве больше не веришь в покой—
Не похожий на теплую лень,
Что взрыхляет и пьет—а такой,
Как на кладбище в солнечный день?—

Знойный праздник большой тишины—
Слышишь пчел и полет планет.
Так удастся сберечь хоть сны,
В остальном же и нужды нет.

День за день цепляется —
Много сизых, голых дней.
Жизнь в углу валяется,
Позабыли, знать, о ней.

Знать бы, где уколешься,
Где споткнешься, а где нет.
Ты наверно молишься
Или плачешь обо мне?

Быть бы нам друг с дружкой
На другой тогда покрой . . .
Мокрою подушкой
От людей глаза прикрой.

НЕРАЗДЕЛЕННАЯ МИНУТА.

Страдать отдельно, не делаясь, не ноя,
И пусто отпустить туда, где все —
Вот в эту ночь, по этой вот росе,
Не знающей дневных щекоток зноя.

Угрюмо-равнодушный, словно филин, —
Сапожник или пастор — немчура —
Здесь проходил наверное вчера
И не тревожил мозговых извилин.

А мне, — не в силах снять с души
нагар, —
Куда? Ничком? Навзрыд в пыли
заплакать?
Тереть до ссадин щек небритых
мякоть
О равнодушно-серый тротуар? —

И успокоиться, сознав, что жизнь есть
роль,
Что этот час, ползущий, как мокрица,
Ведь тоже никогда не повторится,
И завтра будет уж иная боль.

STAATENLOS

Блуждали ль вы, ночами, одиноко,
Когда часы особым звоном бьют,
Когда на улицу из ярко-желтых окон
Презрительно глядит чужой уют?

Под редкий шум ночных автомобилей
Тогда плывут, не знаю сам зачем,
Обрывки дней, и слов, и лиц,—что были,
А может быть и не были совсем.

И жизнь встает, как белый лист бумаги,
Где—жирный штамп, приметы все мои
Да имя одинокого бродяги
Без родины, любимой и семьи.

Семья и родина промчались мимо,—
И в памяти не мог их закрепить;
Любимая... любимая... любима...
Не надо о любимой говорить...

Какою жизнью, первой ли, второй ли —
Все перепуталось—теперь живу?
Не разберу... Эй, guten Abend, Fräulein!
Идешь домой? Имела рандеву?

Минутный труд—и сразу все, что надо,
На сердце даже, будто, веселей, —
И удовольствие, и плитка шоколада, —
О чем мечтала всю войну. О кей!

Война окончилась—так мне сказали.
Быть может, надо веселее быть?
А каждой ночью снова снятся дали.
Подолгу завтра надо бы подбить...

ES REGNET IN REGENSBURG

Сегодня тучам нет конца,
И бьет в глаза поток,
Как будто хочет смыть с лица
Пыль пройденных дорог.
Пряматы стебли скользких трав,
И лужи на пути,
Но, все на свете потеряв,
Не тяжело итти.
Ведь шага не остановить,
Из края в край бродя,
И влажных глаз не осушить
От слез и от дождя.
Пусть капли катятся с бровей,
Пусть ветер валит с ног!
Еще сильнее! Еще сильнее!!—
Так чтобы встать не мог,
Чтобы упасть без чувств, без сил,
Щекой на лопухи,
Забывать, что я когда-то жил,
Грустил, писал стихи. —
Ведь, вырывая с корнем прядь,
Упав на мокрый труп,
Она не будет целовать
Моих холодных губ.

Я жизнь свою позабываю—
Дни, вещи, лица, города—
И помню только поезда,
Что мчат, стучат и завывают.

И до сих пор кругом все то же
С дощечкой „Третий Класс” купе,
Где пол в яичной скорлупе
И лоснятся скамьи, как рожи.

День завтрашний тягучей тиной,
Как пруд, покрыт, лишь на руке,
На непонятном языке,—
Вся жизнь — гравюрой-паутиной.

Зеленая бутылка на столе,
В нее смотрюсь я напряженным
глазом.

На полутемном выпуклом стекле
Подвластно все фантазии приказам.

Прозрачность цвета прудовой воды
Рисует мне в лучах свои глубины,
С усталой тайной, как глаза у Нины,
А главное: тенистые сады,
Где все деревья слились воедино.

Подумать не успеешь: Ob es gab?—
Все эти пальмы, ясени и клены,—
В какой-то грани гаснет луч, внезап-
но исчезая в темноте зеленой.

И, как под острием стальным ножа,
Мысль оборвется, перейдя в другое,
Капризно и неожиданно, как enjambement
под гениальной рукою.

Так строки обрывал свои Артур
Рэмбо в сонете путаном и гордом,
Так Рихард Штраус надламывал H-dur
A-moll'ным негодующим аккордом.

СТИХИ ОБ ИТАЛИИ

ИТАЛИЯ С ЧЕТКАМИ

I

Трудно пробыть полчаса в церкви
Scalza на Grande Canale;
Все ты там можешь найти,
нет только голой стены:
Фрески, витражи, картины, колонны,
плафоны и ниши,
Склепы, карнизы, кресты,
статуи и алтари.
Наша религия — свечка, а их —
огнедышащий факел;
Там — благодатная тишь,
здесь — исступленный порыв.
Нет у католиков кротости нашей,
умильности, ласки —
Бьется в истерике все,
вьется, стремится, кричит.
Кажется, даже мадонны хотят
оторваться от камня,
Чтобы греховно начать
буйный вакхический пляс.

III

Я разговаривал долго с монахом
в коричневой рясе,
Слов недостаток мешал
толком ему объяснить
Разницу наших религий: католиков
и православных,
Да и, по правде сказать,
сам ее толком не знал.
— Деву Марию-то вы признаете?—
спросил наконец он.
Вспомнил я пушкинский стих,
вспомнил иконы в церквах.
— Да, я сказал, в Богородицу Деву
Марию мы верим.
— Вепе, ответил монах,
встретимся с вами в раю.

В АЛЬПАХ

I

Два с половиной часа я лез,
отдуваясь, на гору,
Падал, скользя, и вставал,
брался за ветки кустов.
Вот, наконец, и отвесный обрыв,
дальше путь невозможен,

И, обернувшись назад,
я посмотрел с высоты:
Те же горы, покрытые мелкими
соснами, вижу.
Нового нет ничего.
Что ж я карабкался зря?

II

Дочку хозяйки зовут
знакомым мне именем—Nini;
У нецелованных губ
сочный малиновый цвет,
Щеки покрыты несмятым пушком,
а глаза — как у куклы.
Я заглянул в кошелек:
скоро он будет пустым.
—Сколько с меня за вино причитается?
тридцать две лиры?
Nini, глаза опустив,
тихо ответила: "Si".

III

В Маджио, горной деревне,
дуют холодные ветры,
Кружится серая пыль
и засоряет глаза.

Возможно, что с балкона, там, напротив,
Я щелкнут лейкою сейчас — и вот,
В обычном для судьбы круговороте,
Мне неизвестный человек найдет,
Тоскуя в серой жизни по новинке,
Жару, фонтан, меня — все, что здесь
есть —
В какой-то книге, на цветной картинке,
Когда-нибудь, лет через пять иль шесть.

В Бергамо, на Piazza del Duomo,
Есть капелла, — там где вход в собор.
Солнце жжет с ленивою истомой,
И доносится орган и хор.

Сторож отворит, взглянув сурово,
Что-то непонятно говоря,
За две лиры оглядите все вы —
Кресл резьбу и роспись алтаря.

Нежность красок немки Анжелики,
Тьеполо роскошные мазки,
Тонкость деревянной мозаики,
Станут на мгновение близки.

Только в нише, досками обшитой;
Задыхается в мешках с песком,
От осколков бомб и взглядов скрытый,
Всадник в латах с вороным конем.

Но когда на горизонте горы
Спрячет ночь, ко сну людей склоня,
Выезжает он, вонзая шпоры
В металлический живот коня.

Мчатся так всю ночь они без цели,
Лунным светом оба залиты,
Птицы страстные выводят трели,
Дышат пьяным запахом цветы,

Бронзовых волос густые пряди
Чуть колышет ветер неземной;
Он в руке копьё сжимает, глядя
На позор Италии родной.

И пока заря не заалееет,
Осветив на крышах черепки,
По густым каштановым аллеям
Всадник продолжает путь тоски.

.....

Полночи дождися на балконе,
Притаись, и на другой стене
Тень Бартоломео Коллеони
Пролетит на бронзовом коне.

Весной и солнцем дышит грудь,
И с Альп холодный ветер дует.
В том доме счастлив кто-нибудь,
А в этом кто-нибудь тоскует.

А мне — ни радостей, ни бед,
Ни порицанья, ни привета;
И ничего на свете нет,
На что бы я просил ответа

Жизнь хороша или плоха?
Что даст мне эта цепь скитаний?
Душа слепа, душа глуха:
Нет чувств, нет мыслей, нет желаний.

Я ЗАВТРА УЕЗЖАЮ, СИНЬОРИНА

Вечер тоской молчаливой повеян.

Auf Wiedersehen.

Улицы дремлют. Пуст тротуар.

Au revoir.

В окнах темно. Тебе нужно бай-бай.

Good-bye.

Встретимся ль снова? Не знаю.

Едва ли...

Vale.

Ты мне сказать хотела что-то?

Buona notte?

Ручку мне протяни на прощанье.

До свиданья.

III

Нет, Бог не мог создать
уют баварских гор
И лепет ручейка
в плакуче-сладких ивах—
Их стряпал херувим,
закатывая взор,
Из самых сахарных,
из самых незлобивых.
И с риском быть смешным,
сейчас хотел бы я
Пить поцелуем страх,
сгибая до отказа
Над пропастью твой стан,
счастливая моя,
В заоблачных горах
дремучего Кавказа.
Чтобы влажнел твой взгляд,
чтобы свисала прядь,
Чтобы вздымалась грудь,
чтоб щеки розовели,
Когда свою любовь
я буду изливать
Цветистым языком
героев Руставели.

Когда вся земля, как большой балаган,
Пестрела в шальном изобилье,
Ходил по дорогам веселый вагант,
Пропитанный солнцем и пылью. —

Полями, где некогда войны велись,
Где копыта об латы бряцали,
Лесами, где рыскает Рейнеке Лис,
Где красный башлык Рюбецаля.

Там воздух под зноем пьянит бузина,
Там дремлют дремучие ели,
В веселых ключах, где струя студена,
Снуют озорные форели.

А в городе —
пыль под ногой горяча,
И все уголки загремели;
Там манит таверна, галдя и крича,
Кислеющей затхлостью хмеля.

Пощупать последний медяк
в кошельке —
И в дверь, с королевским размахом,
Дородную Грету прижать в уголке
И чокнуться с толстым монахом.

Потом толковать о седой старине,
О гезах, о нантском эдикте,
О губках и щечках, о добром вине
И о святом Бенедикте.

По жизни шагать с загорелым лицом—
Конца не найдешь вариантам!
Насмным солдатом, фигляром, купцом
Но лучше всего быть вагантом.

На запад садится дневной диамант,
Дорога темнеет и стынет,
Идет по дороге веселый вагант
И песни поет по-латыни.

Пусть мечтают о высоком,
бурном, алом,
Тех затрепанных миражей я не чту;
Идеал всегда рифмуя с одеялом,
Я сложил благоуханнее мечту—
Круглой талией в три с четвертью
обхвата
Наполняя тараканное жильё,
В царстве пенок, спиц вязальных
и ухвата
Дни проводит, как в обряде. У нее—
Щеки—яркие и спелые, как свекла,
Грудь—сдобный и рассыпчатый
вальяж,
Имя—пестрое, как сарафаны—Фекла.
Что еще мне в сирой жизни надо? Я ж—
Буду бить ее по пятницам и средам,
Каждый день внушать, что в доме
я главой,
Иногда хвалить олады за обедом,
А когда она останется вдовой—
(Я ж увяну, этот мир вполне уважив,
Как в саду осеннем листья
синих астр)—
То стихи мои, чуть прикасаясь даже,
Красной ленточкой крест-на-крест
перевяжет
И счастливому потомству передаст.

Было ль это под Атиллой
Иль в эпоху крузад?
Это было... Это было
Очень много лет назад.

Был тогда я не министром,
Не слугой, не мужиком,
А в пруду — округлым, быстрым,
Черным водяным жуком.

Все углы знал наизусть я,
Каждой ямки захолустье,
Каждой ряски корешок.
Как там было хорошо!

Слизь, как сизый, бледный иней,
Покрывала там траву,
Пряча в чаще тускло-синей
Красноглазую плотву.

Там, в зелено-желтой мути,
Свежих струй не вынося,
Млела карасиха-Mutti,
Нежа сына-карася,

Я стрекозьей личинкой
Был пленен там до ушей
И под белою кувшинкой
Назначал свиданья ей.

С нею страстно ковыляя
По аирному стеблю,
Я шептал ей: Дорогая!
Я вас... ах! Я вас люблю!

Робко, нежно и тревожно,
В домик прядась от стыда,
Мне она сказала: Можно...
Наконец сказала: Да...

И, от радости краснея,
У корней, на вязком дне,
Все, что девушка имеет,
Отдала со вздохом мне.

Мы прощались у калитки,
Расставались в туман...
Только строгие улитки
Осуждали наш роман.

Разве скользкие моллюски,
Пряча в раковину гуски,
В состояньи оценить
Страсти огненную нить?

Знали ль, как она невинно
Лопотала о любви,
Высунув наполовину
Ножки серые свои?

Но однажды, вскинув тело,
Вид приняв совсем иной,
Стрекозою улетела
В голубой прозрачный зной.

Я бежал тогда на берег,
Ум теряя от потери,
Тупо ползал тут и там
По чужим, сухим цветам.

Душу разорвав на клочья,
Я вернулся в затхлый пруд
Ждать, когда под оболочкой
Чувства медленно умрут.

Я скончался, как спартанцы—
Без гримас, без слез, без слов.
Скоро костяной мой панцырь
Тихой тиной занесло.

Так печально-неуклюже
Кончил я мой жучий век.
Ах, опять бы мне в ту лужу!
Ах, зачем я человек!

Там где прекращается живое,
Там где вечный холод в вечной мгле,
Носятся стремглав, дрожа и воя,
Души всех умерших на земле.

Мы не знаем, что это такое;
Между нами—света полоса.
Только в свисте ветра мы порою
Слышим по ночам их голоса.

Но и то понять тогда не можем:
Неизвестность красит наши дни,
Нам земля—опорой, пищей, ложем.
Но другое знают там они:—

После смерти—не конец мученьям,
После смерти—стоны в пустоту,
В столах этих—боль без облегченья,
Злоба на земную слепоту.

Мы стоим у притворенной двери,
За которой быть в конце нам всем;
Кое-кто не верит, кой-кто верит,
Большинство не думает совсем.

Убегаешь в выдумку от боли,
Дышишь, чертишь пальцем на стекле.
Я вчера послушал ветер в поле,
И с тех пор мне жутко на земле.

Рада гондола, покинув каналов сырых
паутину,
Где обрамляют дворцы
затхлую зелень воды.
Синюю влагу лагуны колеблет
ласкающий ветер,
Спутал на собственный вкус
волосы на голове.
—Дай мне весло, гондольер, я в море
направлю гондолу!
Выдержит черный твой челн
волн озорную игру?
Но гондольер не ответил, он смотрит
на Санта-Микеле:
Остров-кладбище собой
к морю нам путь преградил;
Странный, как вымысел Беклина, как
очарованный замок,
Каменной красной стеной
смотрит сурово на нас.
—Кто там? Живые? Назад! окликают
меня кипарисы,
К небу, как пики, подняв
конусы темных вершин.
Но неприступное—пусть даже в смерти
—влечет человека.
Я бы хотел умереть,
чтобы проникнуть туда.

Я бы хотел умереть недалеко от
паперти Фрари,
Чтоб отпевали меня
там, где лежит Тициан,
Чтобы священник над трупом долго
читал по-латыни,
Плакали чтоб под орган
статуи грустных мадонн,
Чтоб по каналам везли меня, чтоб
гондольер беззаботный
На поворотах кричал
глухо-протяжное „Ой”,
Чтобы следы сладковатого тленья от
пышного гроба
Ветер морской разогнал,
синей лагуной скользя,
Чтобы причалить нарядной гондолой
у острова мертвых,
В крепость попасть наконец,
от любопытства дрожа,
И у корней кипариса, в болотистой,
вязкой могиле,
В важном, торжественном сне
жизни иной ожидать.

Устало и грустно, как странники,
По гравию бродим мы тут.
Против законов ботаники
Ветви берез растут.

Торчат неестественно, щеткой,
Выгнулись вверх, а не вниз.
Рядом, за низкой решеткой,
Лежат какие-то мисс.

Всех ждет ночлег этот жесткий,
Теперь или погода...
На вашей простой прическе
Росятся капли дождя.

Ваше лицо так близко—
Можно губами достать.
Как это по-английски?..
Или по-русски сказать?

Каменный ангел беспечно
В бассейн хочет сделать шаг,
В нашем саду, конечно,
Все будет совсем не так.

Ангел из камня! Нельзя так...
Придумал же глупый народ!—
Войну, лагеря из палаток,
Надписи „Ruht in Gott”,

Идеи, нации, ранги—
Столько нелепых вещей.
Вот вы—настоящий ангел,
Вы лучше всех вообще.

АЛЕКСАНДР БЛОК

Дворцовый мост, ростральные колонны;
Спокойный, влажный и печальный
снег;

Осунувшийся, бледный человек,
С умершим взглядом, больше не
влюбленный.

Вся жизнь—в снегу: от первых
поклонений,
Сквозь маски прорезь, цокот рысака,
Сквозь разудалье вьюжных
песнопений

До этого последнего куска.

Уже не мученик, не грешник,
не мессия,—

Он весь застыл и ничего не ждет.

Последняя любимая —Россия—

Ушла с другим и больше не придет.

Без всяких спазм, агоний и конвульсий

Он задохнулся в жизненной тоске,

Сам не заметив, что не бьется в пульсе,

Что снег уже не тает на щеке...

20-й год—в кострах на перекрестках,

Голодный, грустный, снежный и пустой;

А завтра все растает в грязных

блестках,

Стечет ручьем, впитается землей;

Но никакой июльский желтый зной
Лед смерти не прожжет, он это знает—
И строки, ненаписанные мной,
В его мозгу безжизненно всплывают.

Ведь если б не был снег ленив и пресен,
Ведь если б, неожиданный, шальной,
Прорвался ветер отзвучавших песен,
Ему почудились бы мы с тобой.—

Но ветра нет. Глаза смотреть устали.
Нева сквозь сумрак серо-голубой
Глядит немymi пятнами проталин,
Как через двадцать лет на нас
с тобой.—

И нам с тобой привычно-ясным станет,
Что и не надо в душу допускать
Раскаты войн и зарева восстаний,
А только с новой грустью вспоминать

Февральский снег, что падает без цели
В усталых мокрых хлопьях без конца
На воротник, на скользкие панели,
На неподвижные черты лица.

В ГОСТЯХ, НА ЗЕМЛЕ

Когда-нибудь, в двухтысячном году,
Я здесь пройду, незримым гостем,
И все неизменившимся найду —
Людей, развалины домов, растенья.

И где-нибудь на чердаке, под крышей,
Найду под всяким хламом вековым
Обрывок пыльной, выцветшей афиши
С давно забытым именем твоим.

И подержу невидимой рукою.
И уроню. И вновь пойду плетясь.
Увижу с той же, как сейчас, тоскою
На черном небе серых веток вязь.

Но снег похрустывать вот так же будет
Под чьим-то тоже рваным башмаком,
И так же молча — торопиться люди,
И, удаляясь, красным огоньком

Все кажется доступным под луной,
Вершины кажутся не так высоки;
И только светят странной желтизной
Твои, мной нецелованные, щеки.

И ты, чужая мне при свете дня,
Случайная, насмешливая, злая—
Мне кажется, что ночью ты другая,
Что хоть немного любишь ты меня.

МЮНХГАУЗЕН

Давно живу на этой я планете.
Мне двести лет минуло в январе.
Я всем знаком: и взрослые, и дети
В течение полутора столетий
Смеются над гравюрами Дорэ.

Теперь я весь—XX век: от жеста
До модных отворотов на пальто;
Теперь любовника принцессы д'Эсте
Во мне наверно б не признал никто.

Ars longa est, sed brevis vita nostra.—
Я это знал, и властью тайных сил
Волшебника и графа Калиостро
Продлить мне молодость я попросил.

Я помню зависть старца Казановы:
„Ах, я сыграл бреттера и самца,
Мои любовницы отныне—вдовы”.
А я был юн, и месяц мой медовый,
Казалось, не хотел, иметь конца.

В мой век царила сказочная шутка,
Жизнь щекотала нервы, как игра,
Но вот, как вечер, холодно и жутко,
Привычных ужасов пришла пора.

Все—вниз:—от менюэта—
до фокстрота;
Драконов нет, потомки их—глисты.
Слезает с жизни сказки позолота,
И мне осталась в мире только ты,—

Находка неожиданно-простая,
Награда за ошибки прежних дней,
Мне кажется, всю жизнь тебя я знаю,
Ты—лейтмотив симфонии моей.

Ты—девочка в сравнении со мною,
Но мелкими морщинками у глаз,
Волос волнистых ранней сединою
Упорно разделяет время нас.

Пусть для других все празднично
и пестро,—
Я убежден: жить дальше смысла нет,
Нет радости в подарке Калиостро,
Коль без тебя коптить я буду свет.

Прощай же, приключений вереница,
Порой невероятных, словно сны!
Минуту...

Все.

Как странно!

Будто снится...

Я снял заклятье. Мы теперь равны.

Я годы вижу наперед,
Где люди—старики,
Где голод города берет,
А страх—материки.

Жизнь будет мучить, бить и гнать—
Ложись и умирай!
И наше время вспоминать
Все будут словно рай.

А мы с тобой—глядим назад,
И, сквозь столетий дым,
Мы даже в пытках Торквемад
Любуемся былым.

Пожалуй, можно ставить крест,
Не развязать узла,—
Весь исторический прогресс—
Прогрессия из зла.

Много див, а мы не знаем;—
Есть колдунья за Дунаем.
Там волшебные дела,—
Черный кот и чучела,
Зелья, снадобья и склянки,
Под окном растут поганки,
Жабы—желтые зобы,
Дым спиралью из трубы.

А колдунье—нету мочи,
И глядеть на свет не хочет,
Упадет—лицом в кровать;
Перестала колдовать.
Та вздохнет она, то охнет—
С каждым днем колдунья сохнет,
С каждым днем зрачки грустней.
Что, скажите, делать с ней?

Ведь когда—в любой личине,
По какой-либо причине—
В путь летит ворожея,
То лечу туда же я;
Опоила, что ли, ядом—
Только с ней всегда я рядом:
Или камнем на кольце,
Или мушкой на лице.

А она чего-то хочет,
То заплачет, то хохочет—
Влюблена? Сошла с ума?
Заколдована сама?
Средство верное найду я,
Я колдунью расколдую,—
Чтоб исчезла хворость та
Красной мышью изо рта.

Все ищу. На этом шаре
Все холмы и рвы обшарил.
Нехватает больше сил,
Сердце в тряпки износил.
Время нам помочь не хочет,
Время душу каплей точит.
Скоро будет двадцать лет,
Я плетусь за нею вслед.

Мы много лет и стран пройдем с тобою
И наконец увидим ту страну,
Где даль нежна, как тонкий звук гобоя,
Где небо, словно песня,—голубое,
Где солнце клонит к ласковому сну.
Там будет холм, и мы на холм взойдем,
Увидим плавные реки извивы
И трав колышущихся переливы
И зеленью закрытый старый дом,
И скажем мы: Жизнь все-таки красива.
И сотни дуновений, самых нежных,
К нам прилетят из стран, где нету слез,
Где нет метаний наших неизбежных—
Игаться локонами наших снежных,
Как подвенечная фата, волос.
Жизнь подойдет к концу, придет вторая
И та же, в образе другом, любовь,
И будем мы с тобой, не умирая,
А только в прятки с вечностью играя,
В столетиях встречаться вновь и вновь.
Миллиарды душ запутаются в снах,
Миллиарды мыслей вспыхнут в головах,
На краткий миг изменят лик планеты.

Мир удивится и забудет это.
Мою любовь к тебе в других словах
Совсем другие будут петь поэты.
Конец придет; покроет снег Алжир;
Планетами все эти звезды станут;
И, может быть, другой родится мир,
Совсем без зелени, совсем без лир—
.....
Но я любить тебя не перестану.

Опережая душную пыль,
Рвет грудью воздух автомобиль.
Не подсчитать, сколько сделано миль,
Не распознать, это сказка иль был.

Жизни излишек,
Вечная смена,
Нет тихой гавани—

В скуке болотной годы влачить.

Красные крыши,
Белые стены,
Зеленые ставни—

Город от города не отличить.

Краски сливаются на бегу,
Прошрое вспомнить я не могу:
Не было книг, что я читал,
Не было глаз, о которых мечтал,—
Был только скачущий сердца стук,
Был только вечный ветер вокруг.

Синее платье слева мелькнуло.
Я обернулся, она взглянула,
Я улыбнулся, она—в ответ:
Мы ведь знакомы тысячу лет.
Под этой липой я с нею встречался,
В этой вот кирхе с нею венчался,
Может быть, даже ее любил,
Может быть, даже счастлив был.
Только не помню,—я все забыл...

В сторону мысли! Быстрее авто!
Это не нужно,

это—не то...

Кусты при дороге пустились в пляс—
Восемьдесят километров в час.
Спутались волосы, щеки в пыли.
Если б сорваться сейчас с земли—
Пулей-ракетой в пространство—пли!

Там ни конца, ни начала нет,
Только фонарики звезд и планет,
Только павлиньи хвосты комет,
Только слепящий пронзительный
свет.

Крайняя скорость, крепче держись!
Понял теперь, что такое жизнь?
Вывод несложен, разгадка проста:
Это—свобода и быстрота,
Да чтобы шины спешили шурша,
Да чтобы ветер шумел в ушах.
Чорт подери, а ведь жизнь хороша!

Мы не читали очень многих книг
И по тропинкам многим не ходили,
Мечтою взяли раут иль пикник
И даже в сказке строго ищем были.

А ведь дорогами любой страны
Гуляет столько солнца, звуков, люда,
И, если поглядеть со стороны,
Вся наша жизнь—
одно сплошное чудо.—

Бродить по свету и смотреть вокруг
И собирать, чего никто не видит,
Запоминать: изгиб красивых рук,
Лень облаков и строчку в Энеиде.

И замечать: как тянешься весной,
Как летом шея дочерна коптится,
Как осенью нежнее ты со мной
И как зимой, нахохлясь, мерзнет птица.

И все другое:—детский рот в грязи,
И как стареют женщины и вещи—
Вот так вдыхать, рассматривать вблизи
Покуда день, покуда краски резче.

А ночью, разбираясь едва
В дневном, веселом, безобразном гаме,
Писать стихи, простые, как трава,
Которую ты топчешь под ногами.

Пускай смешно сейчас искать устои
Иль даже краткий временный причал,
Но всюду есть то важное, простое,
Чего никто еще не замечал.

А коль заметишь ты случайно где-то—
Молчи и никому не говори,
Возьми с собой и из находки этой
Жизнь незаметной сказкой сотвори.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр
II	
Осень (из Рильке)	4
Тряпке—валяться под лавкой	5
Сумерки	6
Перед тем как заснуть	7
Все что в жизни осталось нам	8
День за день цепляется	9
Неразделенная минута	10
Staatenlos	11
Es regnet in Regensburg	13
Я жизнь свою позабываю	14
Зеленая бутылка на столе	15
СТИХИ ОБ ИТАЛИИ	
Италия с четками	17
I	17
II	18
III	19
В Альпах	
I	19
II	20
III	20
Веронские картинки	
I	21
II	21
III	22
Озеро Комо	23
В Бергамо, на Piazza	25

Весной и солнцем дышит грудь.....	27
Я завтра уезжаю, синьорина	28

II

Ночной час (из Брокмайера)	30
Нет, Бог не мог создать	31
Когда польется ночь	32
Когда вся земля	33
Пусть мечтают	32
Было ль это под Атиллой	36
Там где прекращается живое	39
Рада гондола	41
Устало и грустно	43
Александр Блок	45
В гостях, на земле	47
Днем все бестрепетно	49
Мюнхгаузен	51
Я годы вижу наперед	53
Много див, а мы не знаем	54
Мы много лет и стран пройдем	56
Опережая душную пыль	58
Мы не читали очень многих книг	60
Пускай смешно	62

ПОДЪЕЗЖАЯ К АМЕРИКЕ

Вместо водорослей Гольфштрома —
Туман из Святого Лаврентья.
стирая понятие «дома»,
Близится жизнь Часть Третья...

Ветер, кажется, понимает
Радость полосок на флаге.
Только жаль комочка бумаги,
Что на гребень волна подымает:

С рук соскользнул — и в воду,
Плыть без конца и без края
Месяцы, может быть, годы.
Тоскливым словом «свобода»
Это у нас называют.

Неужели нету счастья в воле,
Так что сны даже больше не снятся?
Неужель в тошнотворной соли
Вечно мокнуть и растворяться?...

Ах, забыл среди плеска влаги,
Что на борту я, а не
Мятым обрывком бумаги
В Атлантическом океане.

(1949)

Лосанжелосский верлибр.

Ein Fichtenbaum steht einsam...

Равнодушные сосна и пальма
Растут рядом,
Опровергая весь романтизм.

ПОЭМЫ

ВЛАДИМИР МАРКОВ

ГУРИЛЕВСКИЕ
РОМАНЫ

РИФМА

1960

Издательство имени Ирины Ясен

ГУРИЛЕВСКИЕ РОМАНСЫ

ГУРИЛЕВСКИЕ РОМАНСЫ

1

Одинок стоит домик-крошечка...

Грусть названья не имеет.
Грусть как небо бесконечна,
Все на свете проникая,
Словно влага воздух ночью.

Посмотри перед собою:
С репродукции на стенке
Ботичельева Венера
Смотрит скучно, смотрит зябко
И не хочет восхищаться
Сним морем, сним небом; —
Очень грустно в мир рождаться.

Посмотри в окно: над крышей
Облако плывет и тает,
И для глаза незаметно,
Как в часах движение стрелки,
Превращается из замка
В стаю белых пеликанов; —
И опять плывет и тает,
С медленной и тихой грустью
Очертанья изменяя.
И когда дверною ручкой
Мягко и привычно скрипнув,
Ты войдешь и станешь рядом,
За руки тебя возьму я
И смотрю в глаза подолгу: —
Ты в моих тогда не видишь
Тоже грусти — светлой грусти?
Ты ее совсем не бойся;
Это значит вот что, слушай. —

Если б можно было вечно
Так, — прильнув к щеке щекою,
Ожидать, пока секунды
Станут на века похожи;
Иль в лицо глядеть, считая,
Сколько за день понабралось
В уголках морщинок новых,
От которых взгляд добрее
И знакомее улыбка;
Иль рассказывать весь вечер
Шутки, сны и небылицы,
Не записанные в книжках, —

Расточать не собирая
И читать в зрачках пестристых
Все что было, все что будет,
Все что вовсе невозможно.
А когда иссякнут сказки, —
Выходить из дома слушать,
Слушать, как шумят деревья.

Там осины непременно
Каждым черешком трепещут,
Как в бреду, как в лихорадке;
Сосны же — гудят сурово,
Точно старцы-летописцы,
Плавно, строго и пространно
Повествуя о минувшем;
А березы — словно плачут,
Всхлипывая и стихая,
Безутешно плачут, горько,
Словно мать над гробом сына.

Для меня же нет любимей,
Нет заманчивее шума
Заросли широких, мягких,
Добрых и округлых листьев
Лип — густых, тенистых, свежих.
Этот шум готов я слушать
Целый день и целый вечер:
Там звучит, что называют
Необъятным словом «память»;
Там страницы из романов,
Позабывших, обветшалых,

Без конца и без начала;
Там же — знойное жужжанье
Пестрых пчел, когда весною
Медом цвет благоухает.
Различаешь ты напевы
Песен, нам знакомых с детства —
Грустных и простых романсов?

Я люблю одну Россию —
Невозвратно дорогую;
И сейчас, под шорох липы
И жужжанье пчел прилежных
Вдруг и страстно захотелось
Погрустить о ней немного
Светлой, пушкинской печалью:
О давно поблекшем блеске, —
Локонах и бакенбардах,
Кружевах и медальонах;
О каретах, клавесинах,
С колоннадами усадебных,
Где овальные портреты
Над столом из рам узорных
Смотрят пристально, пытливо,
И никак не разгадаешь,
В них усмешка иль серьезность;
Где в столе, в резной шкатулке,
Сплошь источенной червями —
Связка пожелтелых писем,
Перевязанная лентой
(И округлый женский почерк,
Словно капли слез горючих).

Там где памяти границы
Расплылись, мечты коснулись,
Знаю я одну такую
Позабытую усадьбу.
В каждой комнате там был я,
Пальцем проводил по пыли,
Покрывающей портьеры,
Переплеты книг и спинки
Расшатавшихся диванов.
А когда она входила,
В венских окнах и бантах
(И Наталью Гончарову
Чем-то чуть напоминая),
Я следил, как плечи плыли,
Как шуршащие воланы
Задевали за предметы.
Иногда она садилась
К дедовскому клавишному:
Нот раскрытая страница,
Лебединый выгиб кисти,
Приглушенное звучанье.
А когда она вставала
И захлопывала крышку,
Я по вьющимся дорожкам
Уходил в дремучесть сада,
Где — пруды, — и гладь немая
Заросла зеленой ряской,
Где в аллеях даже в солнце
Скорбно, счастливо и сыро,
Где густые лины дремлют
И лучей не пропускают.

Но когда случайный ветер
Пробежит по листьям липы,
С черешков по веткам-сучьям
До ствола волной проникнет, —
Все что называют важным
Сразу позабудь и слушай:
Липы сами все расскажут,
А тебе лишь остается,
Записную книжку вынув,
Поспевать за их рассказом.

Однозвучно гремит колокольчик...

Есть на свете домоседы,
Есть на свете жизнь, как спальня:
Фикус, плюшевое кресло,
Пара туфель под кроватью,
На стене — часы с кукушкой,
Вечером — огонь в камине.
Есть на свете и бродяги,
Есть на свете жизнь-дорога:
В пыльных, стоптанных опорках,
Да с котомкой за плечами; —
И бредешь, куда — не знаешь:
От села до деревушки,
Верстовым столбам кивая;
У лесков, у придорожных,
Заедаая земляничкой
Пригоршню студенной влаги
Из ключа в сырой ложбинке; —

И потом свежей шагаешь
Мимо нив, кустов, оврагов,
Лишь дорогу уступая,
Коль услышишь конский топот
И гремящий колокольчик...
Тряско в кузове кибитки.
Солнце с ласковой лентою
Морит, в сон тяжелый клонит,
Теплым потом обливает.
А ямщик затянет песню:

Эй люшеньки люли люли!
Ну, пошли, чего заснули!
Время быстрое идет,
Нас хозяйка дома ждет.

Хорошо, кто пташек слышит,
У кого есть где-то крыша,
Погреб полный под ногами,
Стол с вином и пирогами
Под иконой расписной.

А покуда — пыль да зной,
Солнце красное высоко,
Рожь да клевер да осока...

И проехала кибитка.
То ль за поворотом скрылась,
То ль в клубках исчезла серых.
(Так из памяти с годами
Исчезает лик любимый.)

Вспомнил я другие почвы
И поля родные вспомнил,
На давно сухие очи
Набежало — словно искра, —
И внезапно захотелось
По-ребячьи рассмеяться,
По-ребячьи разреветься,
Чтоб раздернулась завеса,
И подробно, больно, ясно,
В дрожи запаха и красок,
Вспомнились места и годы,
Где свое оставил детство.

Ведь утраченного детства
Жальче сбереженных денег,
Позабывших на прилавке;
Жальче золотистой славы,
Улетающей с годами;
Жальче женщины любимой
После слов: «Так будет лучше».
И когда б возможно было,
Детства ты не променял бы
На разбросанную юность,
На растрепанную зрелость,
На заброшенную старость.
Только в детстве видел вещи,
Знал, какого вкуса стебли,
Как ольховою корою
Пальцы выпачкаешь красным,
Как снежок на шес тает.
И на всю я жизнь запомнил
Эхо в комнате у деда

И пчелиные укусы,
Запах конского навоза
И груздей хрустящих стаи,
Жар песка на голом теле
И росистые частушки.
Что потом пришло — бледнее,
Неприветливей, случайней.
Если ты в горах ребенком,
Как коза, скакал по скалам,
То покажется равнина
Безотрадною и плоской;
Если ты в снегах родился,
Голова кружиться будет
От лучей роскошных юга.
Если ты в плохом родился,
То к хорошему привыкнуть
Очень трудно, очень сложно.

Ведь какие только мысли
Не всплывают по дороге!..
А кибитка едет дальше.
В той кибитке бледный, пыльный
Юноша — черты такие
Каждый видел, вероятно,
На Кипренского портретах.
Кто он и куда он едет?
Неизвестно. Ведь в начале
Девятнадцатого века
Не узнаешь из газеты
Про декабрьское восстание.
Разве только под дугою
Однозвучный колокольчик
Пробренчит о том невнятно...

Вы б могли понять, наверно,
Ощущение минуты:
Смесь тревоги с любопытством, —
Если в тишине домашней
Вы романс про колокольчик
Напевали потихоньку
(Так всегда среди уюта
Тянет в дальнюю дорогу),
И внезапно перед домом
Настоящий колокольчик.
Прозвенел. Остановился.
Слышен голос: «Барин дома?»
И тогда в окно увидеть
(С той же смесью любопытства
И тревоги непонятной)
Незнакомую коляску.
А потом, спиной к лакею,
Произнести: «Я принимаю».
И вошедшему в покои
Объявить хозяйски чинно:
«Мужа нету. Он в отъезде».
А потом добавить просто:
«Я вас знаю. По рассказам».

Вы б могли понять, наверно,
Как заманчиво в гостинной,
Сумерек не замечая,
Слушать, затаив дыханье,
Новый звук рассказов новых

И украдкой из кресла
Подмечать своеобразие
Новых жестов, новых взглядов;
И боясь еще признаться,
Видеть близость в незнакомом.

(Где я слышал этот голос?
На пирушках «Арзамаса»
Средь мундиров, синих фраков
Ямбами перебивал он
Пунша треск и звон бокалов?
Или в бункере Берлина
Спрашивал меня серьезно:
«Пережить — и что же дальше?»)

«Снег и ветер, снег и ветер.
Снег на шапках, на цилиндрах,
На мундирах, на тулупах.
Петр Великий руку поднял,
Защищаясь от снежинок,
А они танцуют в вихре
И коню щекочут щеки.
Ветер снегу помогает,
Ветер шелестит плащами,
Крутит перья треуголок.
И теперь еще я помню
Только снег и только ветер.
Остальное — как в тумане:
Ожидание без цели
И рылеевские речи;
Милорадович... Каховский...

Никому не нужный выстрел.
А потом — смятенье, залпы,
И на льду, как точки, люди
Мчатся, падают и тонут.
Медный всадник*, им вдогонку
Грозно протянувший руку.
Так бездарно получилось...
Дальше все неинтересно:
Как допросы, как судили,
Как, прощаясь, надевала
Мать на шею мне иконку,
Как бежал, сюда приехал,
Как дорогой пели птицы.
Но одно доньше гложет:
Так бездарно получилось.
Понимаете, как трудно?
Вы б могли понять, наверно...»

И свечи заплывший столбик,
И внимательные брови,
И картина в круглой раме
(При свече не видно, что там),
И кольцо на пальце бледном.

«Вам понятно?» — Мне понятно.
«Вы согласны?» — Я согласна.

* В 1826 г. Пушкин еще не написал своей повести, но мне доподлинно известно, что герой «Романсов» дал поэту мысль назвать ее так.

На заре туманной юности
Всей душой любил я милую...

Часто в жизни, как в романах,
Первый взгляд решает дело.
Если б требовалась схема,
Я б сказал: совсем глубоко
Где-то — может быть, и в сердце —
От внимательного взгляда
Остается след неясный,
Вроде шрама иль укола.
Там-то все и возникает,
Там растет, пускает корни,
Наливается и зреет.
Наконец, когда созрело, —
Очень долго ищет слова.
Сразу слова не подыщешь.
Вот меня ты уверяла,
Будто все на свете просто.

Если б знала ты, как долго,
С замыслом уже готовым,
Полному и строк и звуков,
Надо мысль, мечту и память
Напрягать до отупенья,
Примерять и сомневаться,
В лупу наблюдать за словом,
Как Адам, искать названья
Для вещей, для безымянных,
И бродить по переулкам,
И не знать, в каком обличье
Наконец предстанет образ.

Вот он на траве пестрящей
Развалился, смотрит в небо.
Вырази единым словом,
Что вокруг него творится —
Точным словом, звонким словом,
Не каким иным, а этим:
Как голубизна струится,
Как по капле жар крепчает,
Как с пронзительным жужжаньем
Синяя промчится муха,
Как трава в изнеможенье
Поникает или сохнет —
И беззвучно просит влаги.
Как опишешь эти знаки,
Этот горький одуванчик,
Эту клейкую смолянку,
Одинокий подорожник?

Шелестят, лучи вбирают,
Распускаются и пахнут;
Между стеблей копошатся
Пауки, жуки, стрекозы,
Муравьи, улитки, пчелы,
Черви, гусеницы, мошки —
Стерегут и убегают,
Ползают, летят, стрекочут,
Роются, сосут и тащат.

Белый мотылек порхает, —
Просто так, без всякой цели;
То сверкнет на глади неба,
То на легкий лист присядет,
То опять над ярким лугом
В странном, ломаном полете
И как будто насмехаясь
Над симметрией, над смыслом.
Так бы жить: не по кратчайшей,
По прямой, логично, ясно,
Устремленно, со значеньем,
От осины до березы,
За каким-то важным делом,
Уважаемым, солидным, —
А причудливым зигзагом,
Самому себе неожиданным.

Он следил полет капризный...
Что он думал? Я не знаю.
Вспоминал, быть может, локон,
Черный локон у хозяйки, —

Тот что справа, возле уха, —
Как завит и чем надушен,
Сколько волосков отстало,
Не желая закруглиться.

А возможно, размышлял он
Об изгнание предстоящем:
Все, к чему привык, покинуть;
Словно капля океана,
На песке чужом исчезнуть,
Очутиться в новом мире,
Где вольнее мыслить можно,
Без угроз и без указок,
И среди чужой свободы
Захиреть и задохнуться,
Словно рыба на поляне.

Но зачем об этом думать?
Думы редко помогают,
Думы путают, сбивают,
Отвлекают и тревожат,
Главное — совсем не думы,
Главное — вот эти травы,
Знойный воздух и занятия
Неустанных насекомых.

А в руке — письмо-записка.
Даже я совсем не знаю,
Что в ней было, только фразу
«Завтра я прошу прийти Вас...»
Удалось заметить бегло.

Дочитать конца не смог я,
Потому что он поднялся
И прислушался с улыбкой:
Из усадьбы доносились
Те же звуки, что в жужжанье
Пчел, кружащихся у липы,
Мне почудились в начале
Этой путаной поэмы.

Вместе с ним я тоже слушал,
И опять мне было чудно,
Как простые вереницы
Точек-звуков вырастают
Во всезначные напевы;
Расходясь и сочетаясь,
Строят храмы и палаццо,
Где ты в этой жизни не был,
Но которые ты помнишь,
О которых смутно знаешь,
Как о родине забытой.

В этих звучных сочетаньях
Я когда-то жил монахом
В дремлющей и древней Съене,
Кистью набожной стараясь
Всю свою любовь и веру
Воплотить в глазах раскосых
Нежной праздничной мадонны
В золоте небес парядных.

А потом, с народом вместе,
В строгом сумрачном соборе,
В унисон с органом пел я:
O Maria benedetta!

Или плутоватой даме
В парке шелковую руку
Целовал с учтливой страстью.
Там, среди нескромных статуй
И задумчивых деревьев,
С менуэтным легким жестом
Я шептал ей: O Madame,
Наш корабль готов к отплытию
На прекрасную Цитеру!
Или в Гунтерово́й свите
Был оруженосцем верным;
И в лесу под Оденвальдом,
Увидав, как мрачный Хаген
Целит в крест, на яркой ткани
Вышитый рукой Кримхильды,
Я воскликнул: Зигфрид смелый,
Обернись, забудь о жажде!
Но уж поздно. Кровь героя
Хлещет пламенным потоком.

Сколько родни ты находишь
В темных памяти глубинах,
Где извилистые тропы
Проходимы лишь для звуков...
Знал ли родину Бетховен?

Если да, то укажите
Ту звезду иль ту планету
На звучащем небосводе.
Сколько их в пространстве черном,
Светлых, искрящихся точек!
Если б телескоп побольше,
Я б свою узнал планету.
Там сидит моя богиня —
Неудачников, ленивцев
И не вовремя рожденных.
Там под сводом темно-синим —
Глухо, добро и бесшумно.

В этом мире нам невольно,
Непонятно, неуютно,
Вот и ищем хоть крупинцы
Света с той родной планеты
В сочетанье слов, в веснушке
На носу моей любимой,
Или, наконец, в прошедшем,
В старом выцветшем романсе,
В зайчике того, что было
И уже не повторится.

**Отгадай, моя родная,
Отчего я так грустна...**

В этой комнате на стенках
Светотени от лампадки,
И в окно стучатся липы.
Стулья, важно подбоченясь,
Темнотою недовольны.
Свечку только что задули,
И она, ко сну готовясь,
Остывает и твердеет.
И роман французский дремлет;
В нем сафьянная закладка,
У очередной страницы
На почлег остановившись,
Тихо с буквами болтает.
Только зеркало ни разу
Ночью глаз сомкнуть не сможет,

Отражая терпеливо
Каждый угол, каждый лучик.
На столе скучают перья
И молчат всю ночь шкатулки;
В тех шкатулках много писем,
Тихих, теплых, строгих, светлых.

И б хотел начать поэму
О столе из этой спальни:
Что он думает, какис
У него друзья и сколько
Разных трещин и царапин
На его дубовой пожке.
И о трещинах подробно;
Об одной, о самой главной,
Что прилежной тонкой змейкой
Вдоль сухих волокон вьется,
Как река на пестрой карте.

А под тонким одеялом
Тело как бы потерялось,
Лишь лицо, уставясь в угол,
Смотрит остро, напряженно
На икону золотую
С потемневшим ликом Девы.
У стола — дорожки трещин,
У людей — морщинок сетки.
Лица без морщин — чужие,
Словно чистый лист бумаги,
Словно вещь из магазина.

У нее на лбу морщину
Первого большого горя
Смерть отца напечатлела.
После первой ночи с мужем
В уголке виска, у глаза,
Пролегла одна бороздка —
Страха, разочарованья.
А сегодня появились
Неожиданно две новых
Там, где брови собирались
Уголком тупым сомкнуться,
И у губ, едва заметно,
Завтра, после пробужденья,
Обе сгладятся, исчезнут,
А покуда в них — страданье,
Просьба страстная, молитва.
За окном стучатся липы,
И минутная морщинка
Меж бровей ширококрылых
Углубляется, длиннееет:
Не жандармы ль? не за ним ли?
Но в саду черно и глухо.
Это ветер, ночь и думы
Страхи праздные рождают.
А в углу, из-за лампадки,
Два больших и светлых глаза
Смотрят ласково и скорбно
На подушку, где молитва
Из беззвучных уст струится.

— Благодатная Мария,
Любящих приют надежный,
Утешительница павших
И отчаявшихся пристань,
Ты все видишь, Ты все знаешь,
Ты плохого мне не хочешь,
Испошли... ему спасенье,
Дай спокойных сновидений.
Богородица Святая,
Поучительница темных
И не знающих дороги,
Если должно совершиться
То, что я готова сделать,
Дай мне знак простой и внятный.

Но в малиновой лампадке
Огонек не колебался,
И глаза смотрели кротко —
Так спокойно, так печально,
Словно скорбь в себя вобрали
Всех людей и всех столетий.

— Ты, наверное, не хочешь,
Чтобы я его любила.
У тебя в глазах равнина,
У него в глазах большое
И пылающее солнце.
От лампадки свет внезапно
Залил комнату, как снегом...
У Сената в день восстанья...
Снегом... с негой... с поцелуем...

Богородица не хочет,
Смотрит грозно, без привета.
Я не буду, я не буду.
От меня Она уходит!
Сквозь окно и через липы...
Я бегу за нею следом
С криком: Матушка-голубка,
Солнышко мое, постой же!
И она остановилась,
И сказала: Спи, родная.
Я заснула. Я заснула.
Я все сделаю, как хочешь.

Я заснула. Я заснула.
И спросить и он ответит:
Ты не знаешь? я не знаю.
Ты не помнишь? я не помню.
Хорошо не знать, не помнить.
Я вот знаю, сколько футов
Составляет ярд английский
И в каком году родился
Вольфганг Амадеус Моцарт;
Знаю всякое — и что же?
Мне от этого не лучше,
Мне от этого не легче.

Ведь совсем еще недавно
Люди к небу порывались,
И романтики учили,
Что в другом каком-то мире
Все не так, все по-иному.

Но столетье пролетело,
И следов иного мира
Не могу я обнаружить,
Оглушенный шумом-звоном
Переполненных трамваев
И истощных заголовков
Да сипкоп безумной скачкой
По заезженным дорогам
Засоренного эфира;
И лети хотя б в ракете,
Не найдешь иного мира.
Все Америки открыты,
Белых мест на карте нету.

Только изредка, случайно,
Перед сном, когда не слышат,
С головой под одеялом
Бесполезно строишь планы,
Как бы написать поэму,
Где б герои появлялись
Только в легких очертаньях;
Все пунктиром, все непрямо,
Только слабые намеки
Расплывающихся красок,
Только контур от сюжета,
Только аромат от темы.
А за этим — словно отзвук
Колыбельного напева,
Музыкой темно-зеленой
В дрему тихо увлекая,
Листья липы, листья липы...

И в светлицу до рассвета
Воротилась, только где-то
Разорвала я шутя
Сарафаячик, растегаячик,
Сарафанчик...

На свиданьях (всех на свете) —
Взгляды, речи, прикосанья.
Взгляды гладят, льнут и молят,
Говорят или скрывают.
Речи взглядам помогают —
То легко, то запинаясь;
Пылко ли: «Меня влечет к вам,
Как рокошующее море
К берегу в часы прилива!»
Или робко: «Я хотела
Вам сказать... Нет, я забыла...»
Прикосанья ж выражают
Все, чего не могут взгляды,
Все, чего не могут речи.

И у нас в саду сегодня
Те же взгляды, те же речи,
И знакомый голос шепчет:

— Мой хороший, милый мальчик,
Ты мой светлый, мой любимый.
Хорошо, что ты признался.

— Я тебя нашел сегодня,
Я тебя не потеряю,
Мы отныне нераздельны:
Нет меня, и ты исчезла,
Что-то общее, родное,
Навсегда, совсем, навеки,
Нет конца и края нету,
На твоих ресницах вечность,
Жизни смысл на лбу в морщинке,
И вселенная сгорела,
Наших щек едва коснувшись.

— Как ты говоришь красиво,
Как тебя приятно слушать.
Только вот что, поздно, милый,
Я пойду.

Прости.

Пусти же.

— Что такое ты сказала?
Я не слышал и не понял..

— Ты понять меня попробуй,
Дорогой мой, сумасбродный.
Нам нельзя соединиться. —
Жизнь у нас не состоялась.
— Жизнь у нас теперь начнется.
Это будет так, ты слушай:
Мы одни с тобою будем,
Никого не будет рядом,
И моя рука с твоею
Расставаться будет только
Для того, чтобы коснуться
Плеч твоих, волос иль шеи.
Будем жить, любить, работать
И читать друг другу строки
Из любимых, из поэтов,
И в лесу гулять под вечер,
Чтобы шишки под ногами,
Чтобы воздух чистый-чистый,
Чтоб легко, чтоб паутина
Неожиданно в лицо бы,
А когда стемнеет, дома
Ты играть и петь мне будешь
Гурилевские романсы.

— Это было бы возможно
Через двести лет иль больше,
Да и то навряд ли... Милый,
В двадцать лет все губы алы
И все девушки красивы.
Ты еще не отличаешь
Страсть из сердца и из книги.

— Понимаю... Ты не веришь,
Что мечта осуществится.
Ты права. Нам невозможно
Здесь, теперь сосдиниться.
Ты должна бежать со мною.

— Если даже убежим мы...
Рай всегда бывает краток.
Ты со мной не будешь счастлив,
Или будешь, но недолго.
А потом — подумай, милый —
Ты любить меня не будешь,
Что тогда я стану делать?
Ты представь хоть на минуту:
Может, лучше-то не будет?
Может, будет только хуже?

— Я тебя не понимаю.
Ведь тому назад минуту
Ты была совсем другая:
Мы щеки щекой касались,
Мы огонь губами пили.
Разве можно нам расстаться?
Если тянет... если сильно...

— Нужно только удержаться.
Это трудно, но несложно.

— Я тебя не понимаю.

— Мы других не понимаем,
Нас никто не понимает —
Все мы очень одиноки.
И пошла дорожкой к дому.
Ночь была совсем такая,
Как бывает на свиданьях.
Лунный свет блестел повсюду,
Там где надо — серебрился,
Там где надо — в тень скрывался.
Даже соловей, наверно,
Засвистал, запел, защелкал.
Может быть, цвели жасмины.
Я не знаю, я не видел.
Я стоял и только слушал,
Как шумят листвою лины,
А потом бродил по саду,
Временами повторяя:
Все мы очень одиноки.

Вьется ласточка сизокрылая...

Осень. Мокрые скамейки
И шуршанье под ногами.

Я на время отлучался
И нашел по возвращенью
Все другое, все иначе.
Так всегда, везде и всюду.
Лет тому назад с десяток
Я хотел быть баритоном:
Чтобы сотни бедных женщин
В вожделении смотрели,
Как я выйду на эстраду,
Как стальной диафрагмой
Выжму ля бемоль с надрывом
И с поклоном благосклонным
Буду ждать рукоплесканий,
Истеричных криков «браво»
И с записками букетов.

А теперь — совсем иное:
Я б хотел быть фармацевтом.
И тогда б, в тиши аптечной,
Изобрел бы я таблетку,
Чтобы у моей любимой
Голова бы не болела.
В наше время (странно ль это?)
Голова болит так часто:
Трудно многое постигнуть,
А принять еще труднее,
Скрыться ж вовсе невозможно.

Ведь в саду моей поэмы
Сыро, мозгло, неудобно,
Пахнут осенью осины,
Пахнут брэнностью березы;
Опадая, листья липы
Прилипают друг ко другу
И лежат бесплодной коркой,
Для чего-то прикрывая
Замерзающую землю.
А в усадьбе стыннут стекла
И шаги ступают тише.
Там в окне, чужой и строгий,
Чей-то профиль с бакенбардой.
Декабриста больше нету,
Что с ним, тоже неизвестно.
И она, в лиловом платье,
Прислонясь к колонне белой,
Смотрит, как редуют листья,

Как готовятся деревья
Встретить голыми ветвями
Белый и хрустящий холод.
Платья воротник высокий
Шею скрыл до подбородка,
И на лбу легла вторая,
Новая уже морщина.
Каждый жест, наклон и ракурс
Четкой линией намечен,
Словно все это рисунок,
Словно этот бархат платья —
Не взаправду, а пастелью.

Так картинкою на стенку
Предо мной моя Россия.
Той России больше нету,
Той России я не видел.
Почему ж я точно знаю,
Сколько в этом доме комнат
И которые ступеньки
Под ногой поют протяжно?
Иль с рождением мы теряем
Что-то очень дорогое
И к нему потом стремимся?
Говорят, что у России
Флаг был белый-синий-красный:
Красный, словно в косах ленты,
Синий, как на ниве точки
Васильков, сухих и грустных,
Белый, как поля зимою...

Очень белой и веселой,
Ноздри щиплющей зимою
Я когда-то где-то видел
Девушку в берете красном
С синей розою в петлице.
Имени я не запомнил:
Может, то была Россия?..

Мы придумали Россию,
Я придумал, ты придумал,
Он, она, оно — так надо.
Но России нет на свете.
Может быть, была — не знаю;
К сожаленью, я там не был.
Тра-та-там, тра-та-там,
К сожаленью не был там.
Для меня она — поэма,
Грусть диагональных струек,
Рваных, на стекле вагона,
Если за окном потемки,
Дождь и дождь и дождь и дождь и...

Где тот дом теперь и что в нем?
Канцелярия совхоза
Иль районная больница?
Это все не так уж важно,
И не в этом вовсе дело.
Лип и клавишин подобных,
Чувств таких, переживаний
Ричардсону бы хватило
Толстых на десять романов.

Мне же это вздох случайный,
Так, вздремнулось ненароком.

Вот и кончилась поэма.

Впрочем, я забыл о главном,
О «товарищах-потомках».
Не исключена возможность,
Что потомство откопает
Рукопись моей поэмы.
На такой прискорбный случай
Нужно сочинить заранее
К ним прямое обращенье,
Пальцем указав на темы,
На идеи основные,
И попутно объясняя,
Что к чему и что же автор,
Собственно, сказать желает.

Вы, не знающие больше
Войн, арестов, эмиграций,
Лагерьей, бомбардировок, —
Вам наверно будет странно,
Почему в такое время,
Где вопросов неотложных —
Словно комаров в болоте,
Где проблем насущных, важных —
Как в харкотине бактерий,
И когда поэт обязан
Все понять и разобраться,
Указать собратьям выход —

Почему в такое время
Выводить опять на сцену,
Что другие описали
И не раз и много лучше, —
Да к тому же без сюжета,
Нету знания эпохи,
Даже просто рифмы нету.

Почему? Ответить трудно.
Только вы меня поймете,
Персонажи из поэмы,
Вы, картонные фигурки,
Что вырезывал я в детстве
И потом играл часами
На полу, в саду, на печке.
О фигурки из бумаги,
Как уйти к вам? За окошком
Липы не шумят. Их нету.
За окном — дома и полночь.
Я готов. Рюкзак в порядке.
Обувь выдержит с неделю.
Шарф свой затяну потуже
(Иль совсем не надо шарфа)...
Вот уж позади остались
Шум шагов по тротуару
И бессонница унылых
Фонарей на перекрестках.
Как нога ступает мягко
По земле, родной опоре! —
И приветствует знакомых:
Камни, рытвины и лужи!

Скоро будут и мозоли,
Компаньоны дальних странствий!
Никогда не знал, что ночью
Так тепло и так просторно.

Только в поле есть дорога.
Только ночью светят звезды.

ПОЭМА ПРО АД И РАЙ *)

*За непреклонную ограду
Стремясь завистливой мечтой.
Лермонтов.*

Часы холодной смерти
Когда-нибудь пробьют,
Придут за мною черти
И в ад поволокут.

И я вознегодую :
Ненужная возня !
Охотно сам пойду я —
Зачем тащить меня ?

Так, миновав дебаты,
С чертями я на ты ;
Хорошие ребята,
Мохнатые хвосты.

Идем походкой бравой
В нездешние места,
И вижу вдруг — направо
Большие ворота.

*) Слегка измененная и сокращенная автором первая часть Поэмы без названия, напечатанной в «Опытах» № 4, 1955.

Там криньки — чудо просто !
Струится смиренная вода,
Порхают алконосты
И надпись — Парадиз.

Мелькнет в уме идея,
И я скажу чертям,
Что очень должен де я
Пройти к тем воротам.

« Их к раям тянет вечно, —
Усышу от чертей, —
Мы этих человеческих
В толк не возьмем затей.

Ад сплетня зашипела —
А там знакомый люд :
И млеют от Шопена,
И деньги в банк кладут.

Никто там и не знает
О муках за грехи,
Там даже сочиняют
Хорошие стихи.

А вечность всеблагая —
К чему тебе она ? »
Но за ограду рая
Душа устремлена.

Пожмут они плечами :
« Ты знаешь, *bien riga...* »
И вот я пред очами
Апостола Петра.

Как фреска из придела :
Хитон, ключ, борода.

« Кто ты,
 где был,
 что делал,
Зачем пришел сюда ? »

— Ответить тут не просто,
Ведь даже Абельяр . . .
Но перебьет апостол :
« Ты, стало быть, школяр ? »

— Я мир листал, как книгу,
И в книге мир искал.
Но по какому мигу
И до сих пор тоска ?

... Вот город, он задушен,
Классичен, проклят, нем,
Там осажденных души
И дужи из поэм.

Там и сейчас вельможно, —
Все в набережном сне.
Туда б сейчас, коль можно,
Но . . . север вреден мне . . .

... А после, пешкой чьей-то,
Топтал тевтонский грунт,
Но фридрихову флейту
Не застил фрицев фронт . . .

... У памяти в обвалах
Ломбардия жива,

Где — красных губ овалы

И неба синева . . .

Твердил : не брошу, дескать . . .

Вдруг (Жизнь, моя сестра !) —

В приветливую детскость

Заокеанских стран . . .

Что это было — тяга ?

Приказ каких-то сил ?

« Ты, стало быть, бродяга ? »

Апостол спросил.

— Бродяга поневоле,

С навязанной клюкой ;

Готов расстаться с « волей »,

Чтоб обрести « покой ».

Но знаю, что в покое

Опять грызет мечта ;

Опять все не такое,

И все опять не так.

Ни взмаху, ни разлета,

Ни свежей рифмы нет.

Спрóсит апостол Петр :

« Ты, стало быть, поэт ? »

— Мой род неизбываем,

Хотя в удел едва ль

Мне Болдино и Веймар,

Дуино и Версаль.

Я знаю их заветы,

И тут сомнений нет :

Когда они поэты,

Я, значит, не поэт.

Но я читал газеты,
В которых нет да нет
Печатают куплеты
Про то или про это.
Когда они поэты, —
Опять я — не поэт.

Но верю я, что слово —
В Наньчане и в Ельце —
Важней всего другого,
« В начале » и в Конце.

Звучанье и значенье
Сплетутся вновь в одно,
Иное назначенье
Откроется в родном.

Стихом нальется проза,
Признав иной уклад,
И на минутных розах
Вскипят колокола.

« Не стану слушать бредь я, —
Прервет старик ворча, —
Ты это, то иль третье,
Точнее отвечай ».

— Кто я, судите сами,
Приму вердикт суда.
Я пятнышко в осанне ;
Пришел же я сюда . . .

Я мог бы обстоятельно,
Но объяснять ленив.
То — образ собирательный :
И женщина и миф.

Поэтам — Муза. Им
Она — мечта живая.
Я ж именем своим
Подругу называю.

Прервет : « За эти двери
Не всяк стучащий вхож,
С чего же ты уверен,
Что тут ее найдешь ? »

Вскричу : — Раз тут святые,
Она конечно тут !
Ведь на земле такие
Подолгу не живут.

« Нет времени на притчи.
Входи, увидишь сам,
Какие Беатриче
Восходят к небесам.

А насмотревшись в досталь,
Проверь мечты твои »,
И предо мной апостол
Врата приотворил.

II

И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай.

Боратынский.

Вхожу: растут ромашки
И лютики цветут,
Неслышно, как монашки,
Всё ласточки снуют.

А пчелы собирают
На терпкую пергу,
И по просторам рая
Гудит немолчный гул.

И множа труд великий,
Мелькают сквозь кусты
Задумчивые лики
И строгие персты.

Садовник ходит прямо,
Молчание храня;
Чуть видимые шрамы
На кистях, на ступнях.

Все головы склоняют
Печально перед Ним.
Как будто понимают,
Что мир неискупим.

Казалось бы, что чуду
Совсем тут места нет,
Когда б не свет повсюду,
Едва заметный свет.

А посредине сада —
Ее ли не узнать?
Взглянула. — Здравствуй, Лада.
Вот вместе мы опять.

Знакомо поглядела.
(Дни в памяти растут).
«Где странствовал, что делал,
Что хочешь делать тут?»

— С тех пор, как ты исчезла
В загробные места,
Мне в голову всё лезла
Упрямая мечта:

Души моей усадьбы
Навеки заложить
И стих
 вдруг
 написать бы,
Чтоб легче людям жить.

Но их не обнадежит
Ни рог, ни барабан.
Был век мой так и прожит
В плену у обезьян.

Везде адепты чувства,
Приверженцы «души», —
Душители искусства,
Душители души.

Давай краюшку хлеба,
Народный тарарам,
А что такое небо,
Не так уж важно нам.

Что дважды два — четыре,
Не усомнишься ты; —
Одни остались в мире
Безбогие скоты.

И «с песней наудачу»
Уже дороги нет.
Вот почему я прячу
На людях, что — поэт.

Из мглы моих раздумий
Кричать им всем «ау»?
Нет, их не образумит
Священная заумь.

Карабкаюсь по кручам —
Но для кого в пример?
Ведь даже самым лучшим
Не слышно звона сфер.

.....
.....

А сколько там погибло
Деревьев, птиц, зверей.

Вот в пыль рога воткнулись
Пред щеголем с плащом,
Вот муха захлебнулась
Живительным дождем...

Классическая хватка,
Ценою всех клише,
Прибавь, прибавь порядка —
Не в мире, хоть в душе!

Не снимешь ноши тяжкой,
Как в муках ни мяться;
Рвать на себе рубашку —
Напрасный романтизм!

Нет никаких мистерий,
Нет никаких дорог
Без верных подмастерий,
Корпящих должный срок.

Но подвиг ученичеств
Поднять мы не сильны,
По клеткам одиночеств
Все распределены.

Пуститься бы в дорогу —
В мозолях и в пыли!
Но все дороги к Богу
Крапивой заросли.

Шагаешь через силу, —
И влаги нет губам
Ни в «господипомилуй»,
Ни в снах Прекрасных Дам.

Лишь редко мысль приходит,
Что виноват во всём:

В тимуровом походе,
И в пасынке босом.

Но это исчезает,
Опять увяз в лапшу,
Душа опять чужая,
Не знаю, где грешу.

С душою нету сладу,
Во всём сидит «кабы».
И мне сказала Лада:
«Ты всё такой, как был».

Приливом из бывшего
Рванулось — не сдержать:
— Пойдем на землю снова
И жизнь начнем опять.

Найдем с тобою угол,
Где ни людей, ни блох,
Укромная лачуга,
Собаки, ты да Бог.

Поэм еще пятнадцать
Одной тобой займу,
И будут поклоняться
Портрету-твоему.

Но мне сказала Лада
С поникшей головой:
«Поэм твоих не надо,
Ни этой, ни другой.

Ты хочешь умилений,
Как встарь, ты полон весь
Уныния, да лени,
Да праздности словес.

То — ах! березкой во поле,
То залился, как дрозд,
Чтоб небо вняло воплям
Дешевых мизантропств.

С одним пустым мечтаньем
К чему и с чем придешь?
И я твоим метаньям
Не верю ни на грош.

Наверно, всё жалеешь,
Что пенки снял не ты,
Наверно, всё лелеешь
Бесплодные мечты.

Тут не закончил книгу,
Там не завел роман, —
Жизнь из одних каникул;
Не мед, а аромат.

И вот твоя поэма:
Вошла ль в ее листы
Загаданная тема?
Чего в ней хочешь ты?

(К тому же нету смысла
Строчить о небесах
Размером Гостомысла
И на одних басах).

Взгляни на эти грядки,
Что взрыхлила любовь;
Взгляни на эти складки
Суровых добрых лбов.

И нам отсюда виден
Атомный кавардак,

И нам отсюда слышен
Голодный вой собак.

Вину людскую вкупе
До капли получа,
Простит, но не искупит
Верховная Печаль.

Мы тут поем и садим,
Чтобы из многих роз
Мечтой иных Саади
Один цветок возрос,

И чтоб из этой розы
Чрез много тысяч лет
В ответ на боль и слезы,
Быть может, вспыхнул свет».

И хор небесный грянул
(Наш голос заглушен),
И пламенем багряным
Окрашен небосклон.

Не ясно ли, что в этом,
Лишь в этом благодать?
Не ясно ль, что поэтам
Об этом лишь мечтать?

Смотри, жемчужин пота
На их челе не счесть. —
Ведь только их работа
Несет Благуя Весть.

Могу ли вместе с ними
Грядущий строить Град?
Мне ясен путь отныне,
Моя дорога — в ад.

И прошептала Лада:
«Останься, дорогой,
Ведь ты не знаешь ада,
Останься тут со мной.

Там только повторенье
Испытанным местам,
Тебе и там мученье,
Им хорошо и там».

— Нет, Лада, нет, невеста,
Нет, это ваш предел.
Но мне-то здесь не место —
В молитве и труде.

Прости-прощай, подруга!
Мне скука не впервой.
В аду найду я угол
И притворюсь, что свой.

Когда-то ведь сходили,
Страданью уступив,
В крошечные пределы
Бессмертные стопы.

Как видно и для плевел
Не бесконечен ад

.....

И я пойду налево,
Куда глаза глядят.

Но с уст ея вдогонку
Сорвется легкий вздох.
Нагнал — и дальше звонко
По шпалам поездов.

Провеет мимо дома,
Где больше не живу,
Промчит сквозь дней знакомых
Обратную канву.

С сибирскими ветрами
Он пролетит места,
Где мать в тюремной яме
Застыла, без креста.

Покинувши пространство,
Смешав века и даль,
Увидит он убранство
Страны моей Трансваль

в печали флейты древней
в Гадесе меж теней
в дымках родной деревни
в сне что всего милей

Не угадаешь, где мы:
Ни верст и ни эпох —
За грань моей поэмы
Занесся Ладин вздох.

Он долетит, отчаянный,
Всем хлябям вперехлест,
До древних, изначальных
И самых дальних звезд.

За этими звездами
Уже печали нет.
Там кончились все дали.
Там только черный свет.

ОДНОСТРОКИ

Одностроки

1. ЧИТАЯ, СЛУШАЯ, СМОТРЯ

На выставке Моне

Стога, Руанские соборы и лилии и тополя . . .

Слушая «Руслана»

О душенька, о флейта, о Людмила.

Поэт и друг поэтов Дельвиг.

Слушая «Дон Жуана»

Donna Anna,
you frigid witch!

На самолете

1.

Абстрактный мир: все линии да плоскости.

2.

Мальчишку провели в сортир.

3.

Здравствуй, смерть.

Тоже слушая «Руслана»

Сестра Памины Горислава.

Перед картиной Бонгарта

О лодка синяя, ты в море, ты не здесь!

2. МИНУТЫ

Наверно так у всех, всегда и всюду.

О Боже, я разбит, составь меня опять.

Березы. Ветер. Думая о смерти

Тот блеск пугающий, тот шорох неземной . . .

А жизнь течет и без тебя.

Молитва

Спаси ее, прости меня.

Солнечный день, в траве

Ты здесь? Ты рядом? Ты со мной?

Мне в тягость собственное тело.

Печаль слетает с ласковых стволов.

Все чаще я слышу смерть.

3. РАЗНОЕ

РОМАНЫ В ОДНУ СТРОКУ

1.

Обрывки человеческих созданий . . .

2.

Роман в народном духе

Груша с Гришей согрешили.

3.

И начал он стареть,
стареть, стареть, стареть . . .

4.

Учитель учил учеников.

Творчество

Уплата долга иль борьба с собой?

Страдать бы, петь бы, людям помогать бы . . .

Скрывай, что ты поэт.

О зеркало, о шкаф, о радиоприемник на столе!

Подражание латинскому

Варвар Варваре во рву вервену варварски вырвал.

Вакхический призыв к Жанне д'Арк (на гласных)

Эван эвоэ о Иоанна!

Свобода милая, куда ты поведешь?

Поправки к классикам

К Пушкину:

Что в вымени тебе моем?

К Плещееву:

Назад без страха и сомненья!

К Тютчеву:

Самоубийство, не любовь

(вариант: Самоубийство — не любовь)

ВОСПОМИНАНИЯ

ET EGO IN ARCADIA...

It was the best of times, it was the worst of times.

Dickens

А я русских студентов терпеть не могу —
они же лодыри.

Чехов (по Бунину)

Сейчас модно изучать СССР. Что и побудило меня написать эти заметки. Как фактический документальный материал для изучающих.

*

Очень хорошо помню выпускной вечер в школе. Танцы в зале на третьем этаже. У всех чувство, что вот теперь разойдемся в разные стороны. До танцев играли «Каменного гостя» (костюмы из костюмерной самой Маринки). Данька (Лепорелло) изысканно, широкими движениями танцует танго с Фридкой (Анна). Толька (Карлос) за роялем. Рэм (в спектакле не занят) — мрачный у стенки. Друзья десяти школьных лет.

Мы с Нинкой (Лаура) ходили по темным коридорам второго этажа, заходили в классы, включали свет. Классы казались маленькими. Теперь мы сидим на окне в большом, темном физкультурном зале (ненавидел этот предмет все десять лет). Шведская стенка во всю стену. Сверху, из третьего этажа (тоже открыто окно) — только рояль. Внизу — булыжная мостовая Ивановской улицы (теперь Социалистическая) и петербургская (теперь ленинградская) белая ночь. Наши дома все тут поблизости: на Кабинетной, Звенигородской, Разъезжей, Загородном. Хорошо помню, как Нинка сказала: Вот мы и взрослые.

*

Для меня выход в жизнь начался немного раньше, с ареста отца за год до окончания школы. Обыск продолжался с пяти вечера до часу ночи. Перелистывали каждую книгу. Один

из них чуть не пять минут рассматривал арию Шакловитого на пианино (там вокальная партия была подчеркнута красным карандашом: «Ты в судьбине злосчастная, родная Русь...»). Конфисковали портреты русских императоров (которые я вырвал вместе с другими картинками, перед тем как Брокгауза продал букинисту) и мое мелкокалиберное ружье «монте-кристо». Впопыхах забыли выключить радио, и обыск проходил под чтение проекта сталинской конституции. Уходя, отец сказал мне: «учись и будь дальше от политики». Он забыл сунуть в карман (как обычно делал) уже приготовленный томик Анатоля Франса. Тетя Дуня утешала плакавшую маму, что это хорошая примета («Значит, вернется за книжкой»). Через год маму тоже арестовали. Никто не вернулся.

*

Всё, что хочется рассказать, вертится вокруг университета. Трудно сказать, почему пошел на филологический. В моем положении надо было выбирать что-нибудь более полезное, индустриальный, что ли. Отец всегда склонял меня к естественным наукам (я и сам гербаризировал мальчишкой). Но я пошел на «филфак». Повлияла встреча с фридкиной знакомой, которая уже училась там на романском отделении. Девушка пресыщенно смотрела куда-то мимо меня, тихо исходила презрением ко всему окружающему и цедила сквозь зубы, что они скоро будут читать Мопассана в подлиннике. Чтобы хоть взирать на такие высоты, я выбрал филологический.

*

На медосмотре я познакомился с двумя, как и я, первокурсниками-филологами («филолухи», называли нас другие факультеты). Мы не стали близкими друзьями, но то, что это знакомство было для каждого первым в стенах университета, нас всегда потом связывало.

Один был блондин с сахарной улыбкой и потным рукопожатием. Он здоровался с большой аффектацией, подбегая с вашим именем-отчеством на устах, долго тряся руку и заглядывая вам в глаза как будто хлебосольный Тонкий, удостоившийся визита Толстого. Он чем-то напоминал Урию Гиппа. Скоро он стал первым учеником курса. Знал имена-отчества всех профессоров факультета. Его отец служил в НКВД. Мо-

жет быть, его отец и арестовывал моего отца. Сам же он потом сделал большую карьеру. Даже, говорят, ездил интервьюировать швейцарского теолога Карла Барта.

Второй был черноволосый, с робкой удалью в движениях. Жал руку с предварительным размахом и отставив мизинец. У него, как и у меня, была переарестована вся семья. Он увлекался Тредьяковским, пьянствовал и спал не раздеваясь. Говорил с большой убедительностью, так что всем известные истины казались открытиями. Любил демонстрировать «душу» — но душа у него действительно была, и очень добрая.

*

Первый курс — время легкомыслия. К подлинной науке никто и не думал приближаться. Острили, блистали, ухаживали, пили — а больше всего были в восторге от своей причастности к университету и литературе. Даже беглый взгляд в окно открывал берег Невы от Зимнего до Сената. На филологический шли самые красивые девушки. Мы были в центре, были «аристократией». Ведь на исторический шли не попавшие к нам по конкурсу; на математический поступали по призыванию, но благодарю покорно — математика! а на географический... географическим просто не интересовались, как будто там никто и не учился.

В перерывах между лекциями девушки по пять-шесть в ряд ходили по тесному залу. Юноши стояли кучками в углах, курили, обсуждали профессоров, передавали последние остроумия. В буфете ели дешевый винегрет.

Профессора были разные. От знаменитого Жирмунского, которому приписывали фразу «Первые восемнадцать языков учить трудно, но потом легко», до выдвигенца Комарова, которого студенты с места хором поправляли на лекции: «Глагол времен, металла звон» — это Державин, а не Тютчев», а он смущенно бормотал: «Разве не Тютчев? Я проверю».

Острот было много. Увлекались шарадами (Что такое: острый предмет, отдан в починку в середине недели, а целое — состояние, необходимое студенту на экзамене? Ответ: среды-точится). Было модно блеснуть на экзамене изысканно-неверным ответом и на вопрос профессора, откуда «Кто на тебе со славой пал»? — выпалить: Из «Египетских ночей», это вопрос Клеопатре. Были и ответы не столь намеренные. Секретарь комсомольской ячейки на вопрос, кто написал

«Прикованного Прометея», неуверенно произнес: Не то Софокл, не то Ипполит.

Но слушали лекции с воодушевлением.

...Заслуженный профессор слезно с кафедры просил не читать его раннюю работу по Боккаччио, ибо там есть идеологические ошибки...

...Марксизм учили несчетное число раз. Однажды на экзамене я блестяще опроверг все вражеские теории троцкизма, хотя в жизни не читал ни строчки Троцкого (да и где бы я его достал)...

...Латинистка в конце урока, полного парадигм, давала «на закуску» эротические стихи Катуллы, и мы с жадностью набрасывались на одиннадцатисложные строки...

По стране и по городу шла ежовщина. Она проникала даже в лекции по языкознанию. Говоря о местоимениях, профессор напоминал, что Гегель считал словечко «это» самым трудным, и на следующий день мы с полным знанием дела читали в стенограмме московского процесса замечание Бухарина со скамьи об этом самом «это» — а ему в ответ звучала брань Вышинского. В другой раз профессор говорил: «В некоторых примитивных языках нет категории будущего времени, и оно выражается отрицанием прошедшего. Например... (профессор делает паузу; простая ассоциация, перед ним сидят десятки студентов) например: я не сидел, значит — я буду сидеть». Слушающие косятся друг на друга, на губах подобие улыбки. Где-то шушукнули. Профессор внезапно вспоминает второе, идиоматическое значение глагола «сидеть» и быстро-сконфуженно переходит к следующей проблеме.

*

Но не прошло и шести месяцев, как наша школьная компания, рассеявшаяся было по ленинградским ВУЗам, была снова вместе и даже вступила в пору расцвета.

Нас было пятеро: двое русских, два еврея и одна поляка.

Рэм был сын врача по сердечным болезням, умершего от сердечного припадка. Он боготворил отца и тяжело переживал его смерть. Полоумной матери он стеснялся — она приносила ему в школу в середине дня или свитер (решив, что сегодня холодно) или яблочко. Рэм был нервен, грубоват и застенчив. Был склонен к аскетизму, закалял себя (поэтому у него вечно был насморк). Он единственный из нас писал стихи еще в шко-

ле. У него был дикий дар. Не зная техники стиха совершенно и даже мало читая чужие стихи, он покрывал сотни страниц бессвязными, большей частью плохими строчками. Не кончал ни одного стихотворения. Мать считала его гением и крала у него черновики стихов (для вечности). Из-за этого они очень ругались. Рэмова бабушка иногда манила меня пальцем к себе в комнатку и, усадив на дырявое кресло, таинственно спрашивала: «Вы знаете, Марков, что Гитлер еврей?» и разрешала мое недоумение афоризмом: «Только еврей может так ненавидеть евреев». Рэм учился на историческом; дома, «для себя», зубрил санскрит. Погиб на войне.

Данька был сын инструктора по физкультуре. Сам он тоже любил спорт. У него было много дядей: актер, композитор, писатель и математик. Его старший брат был правоверным коммунистом и чуть ли не редактором крупной комсомольской газеты. У них в доме было шумно и весело. Много говорили о литературе, пели под пианино всё, что придется, дурачились. Семья вся была «ортодоксальная». Когда у меня арестовали отца, Данька, по настоянию брата, порвал со мной. Сделал он это по телефону. Когда дошел до изложения причин разрыва, сбился, не мог закончить мысли, сделал длинную паузу, потом повесил трубку. Мы друг друга особенно любили, и было гадко. Через год-два, без объяснений, мы опять сошлись. Семья уже не возражала: ежовщина прошла, меня не арестовали, всё было в порядке. О прошлом разрыве и о моем семейном положении не говорили. Только один раз, после представления ибсеновских «Привидений», Данька уронил: «Актуальная пьеса. Дети расплачиваются за грехи отцов». Я тогда почему-то нашел это остроумным.

Данька учился в архитектурном институте. Когда началась война, был где-то на Урале на практике. Может быть, выжил, строит (без удовольствия) дома в провинции и по-чеховски страдает. Наверное, влюблен (если не женат). В любви ему не везло, хотя он и был среди нас единственным красавчиком.

Нинка, муза нашей компании, была дочерью маленького инженера. Отец ее, поляк-патриот, заставлял ее дома говорить по-польски, она же ко всему польскому относилась с величайшей иронией. Нинка была девушка самостоятельная и не любила женского общества. Тетя Дуня не одобряла, что она до двенадцати ночи занималась за моим письменным столом, и ворчала что-то о современной молодежи. Нос у Нинки был

смешно загнут вверх, а глаза стояли далеко друг от друга. В ней было много юмора и энергии. Рэм, безнадежно влюбленный в нее, вначале мрачно страдал, потом любовь его кончилась внезапно и неожиданно. Нинка настолько привыкла к рыцарской покорности Рэма, что от возмущения влюбилась в него и пошла за ним на исторический. Но к концу курса появился новый объект — широкоплечий студент-техник. Нинке пришлось перекочевать в Индустриальный (в Лесном). Технику она терпеть не могла и больше года в Индустриальном не выдержала. К тому же в «объекте» она разочаровалась, и ей очень нравился новый член нашей компании — с английского отделения моего факультета. Скоро Нинка стала читать до двенадцати за моим письменным столом Jane Eyre (до этого читались Ключевский, потом «Спротивление материалов»). В компании утвердилось подавляющее большинство филологов. Неизвестно, куда бы еще перешла Нинка, но война застала ее на филологическом (хотя в студенте-англисте она тоже разочаровалась). Она умерла от голода в осаду Ленинграда.

Пятого и последнего звали Левин. Его одного называли по фамилии. Он тоже всех называл по фамилии. Я с ним познакомился на филологическом, и он как-то приклеился к нам — единственный, с кем нас не связывала школа. Маленький, белесый, рыжий еврейский юноша в рыжем потертом кожаном пальто, он страдал от своей некрасивости, был развязан в обществе, но внутренне сдержан. Среди нас, остальных четверых, он любил играть роль более практичного рационалиста, что ему редко удавалось. В душе он был мечтателем. От отца, покончившего самоубийством, у Левина осталась замечательная библиотека, предмет нашего восхищения. Левин погиб на войне, наткнувшись на мину, когда хотел вывести раненого с минного поля.

*

Эти пятеро составляли ядро. На периферии было еще около дюжины других действующих лиц, часто на долгое время к нам примыкавших, вступавших в отношения с кем-либо из нас; но у этих лун всегда оставалась неизвестная нам сторона. Некоторых из них нельзя не вспомнить.

Вот Толька, кончавший школу вместе с нами. Он потом уехал в Москву и поступил в студию Московского Художественного театра. Большого роста, шумный, нахальный, он наезжал в Ленинград, ругал «наш» климат и прямые улицы, пробовал всколыхнуть нас, провинциалов, и опять уезжал.

Вот Фридка, тоже из нашего класса, дочь модистки, маленькая, тонкая, змеевидная, прирожденная закулисная интриганка. У нее было неплохое колоратурное сопрано, и мы пели с ней дуэты. Нинка ее терпеть не могла, она ненавидела Нинку. Вышла замуж за «ответственного работника», побывала не то в Эстонии, не то в Латвии, откуда они с мужем вывезли много чулок и губной помады. Попались, но вылезли. Я в чулках и помаде не нуждался, и наши отношения с Фридкой оставались дружескими. По приезде она однажды на улице сказала мне на ухо о «загранице»: «Там не жизнь, а мечта, а здесь одно.....».

Вот Наташа, представительница «высшего света», дочь известного литературоведа. Капризная, красивая девушка с лицом европейской кино-звезды. У них в доме хранились литературные традиции, уходящие в глубокую древность. Имелся дагеротип самого Жирмунского в гимназическом состоянии, — Жирмунского, который для меня был олимпийцем с тонзурой.

Вот Чегодаев (Левин всегда рифмовал его с «негодяев», и тот злился). Изучал английскую литературу, но жил Глюком и Бетховеном. Был анахоретом. У него в келье стоял бюст Бетховена собственной работы, а по стенам висели портреты (собственной кисти) оперных певиц, в которых он был влюблен. Пианино у него, к сожалению, не было — и он разбирал бетховенские квартеты на мандолине.

Вот Ляля, дочь шахматиста, толстая, подслеповатая. Она одновременно занималась в университете и в музыкальном техникуме, и вечно где-нибудь не успевала. Она нам играла свои переложения «Интернационала» под Моцарта, Дебюсси, Рахманинова и др.

Их было еще много, но жаль тратить их на очерк. Лучше вставить в повесть, в роман.

*

Почти всё происходило в моей комнате. В эту бывшую спальню моих родителей теперь была составлена вся мебель, уцелевшая от конфискации (многое спасли, расставив по комнатам соседей). На 20-ти квадратных метрах помещались: кровать во всю ширину комнаты от стенки до стенки, большой диван с высокой спинкой, огромный отцов письменный стол, два кресла, буфет с библиотекой и шкаф с бельем и одеждой (последний занимал нишу в стене и не отнимал от жилплощади). Был еще столик у единственного окна (с форточкой), на котором

стоял дореволюционный патефон. Для прохода между мебелью едва оставалось место. Мне до сих пор непонятно, каким образом на литературных вечерах и вечеринках в комнате помещалось до двадцати человек. Правда, диван давал место десяти.

Комната была настоящим центром и воспринималась почти как символ. На рождение, перед самой войной, мне подарили точный макет комнаты, где все мельчайшие детали обстановки (вплоть до портрета Улановой над столом) были повторены в соответствующем масштабе. В этой комнате читали стихи и прозу, спорили, пели, пили; начинали и кончали романы, даже давали пьесы. Над диваном висел большой портрет Ленина, выполнявший двойную функцию: а) закрывать дверцу к вьюшкам. б) чтоб не вешать Сталина. Нинка посоветовала: лучше уж он, чем этот.

Любили играть в разные игры. Одно время в моде была «сюрреалистическая» игра собственного изобретения, где один произносил слово (как правило, существительное), другой же обязан был ответить по принципу ни сходства, ни контраста, а Бог знает как — но чтоб «получилось» что-то «невыразимое». Повидимому, основанием игры был некий неосознанный принцип звукового «ответствия» — но сформулировать его в словах ни тогда, ни теперь я не мог бы. Мы с Левиным схватывались в эту игру часто и выдыхались на десятой минуте. Я не знаю игры более изматывающей. Любили играть в литературный вариант «испорченного телефона». На ухо говорилось строка, и человек, которому сказали, усиленно без слов изображал сказанное — следующий пытался угадать цитату по пантомиме и говорил свою догадку на ухо следующему. Получались забавные недоразумения. Наташе дали «Роняет лес багряный свой убор»; она несколько секунд недоуменно стояла в центре круга, не зная, как выразить это жестом — и вдруг (эврика!), расстегнув красный пояс на своем платье, бросила его на пол. Конечно, следующий передал:

**Если пояс сокровенный
Развязался и упал.**

На первом курсе довольно много пили, потом стали меньше. Данька знал пропорцию чая, которую надо прибавлять к водке так, чтобы она, не теряя цвета, теряла сивушный при-

вкус. Но гвоздем вечера бывали ликеры, которые Левину выделявал его дядюшка-аптекарь. Когда умер Шаляпин (три строчки в «Правде» на последней странице), были поминки: водку закусывали, беря пальцами, одной кислой капустой, которая лежала прямо на столе, без тарелки.

Пели тоже много, иногда часа по два, начиная с моцартовских дуэтов и кончая «Ермаком» или Вергинским. В хоровых песнях фальшиво подтягивал даже Рэм, музыки не любивший и слуха не имевший. Длинные русские песни, вроде «Шумел камыш», пелись, из спортивных соображений, до самого конца, со всеми бесчисленными куплетами и повторениями припева.

Было традицией дарить на рождение что-нибудь свое, «непокупное». Левин получил от меня венок пародий-стихов ему на рождение от разных поэтов, от Катулла до Лебедева-Кумача. Он мне отплатил рукописным изданием моих сочинений по академическому образцу: суперобложка, предисловие с социологическим подходом и скандальными деталями личной жизни, с портретами, черновиками и комментариями. Рэму устроили на рождение заседание археологов двухтысячного года, по оставшимся немногим предметам и обрывкам стихов, восстанавливавших рэмову жизнь. Между прочим, эти археологи расшифровывали слово Госстрах на документе как НКВД.

*

В стенах моей комнаты цвело комнатное творчество. Все писали, кроме Нинки, верным чутьем угадавшей, что роль женщины — вдохновляющая. Пробовали себя в чем угодно, но в общем царили своеобразные гонгоризм, августианство. Культ *tour de force*, условные, насквозь пролитературенные жанры, стихи к рождению, застольное, мадригалы. Что-нибудь вроде

Терзаюсь от тебя вдали я,
О поразительная Лия,
И плачу, реки слез лия
Твоей любви дождусь ли я?

На стихи и рассказы друзей строчились пародии, а на пародии еще пародии. В самих произведениях изощренность начитанных юнцов шла рука об руку с наивным эротизмом и мальчишеской мечтательностью.

Данька писал рассказы о каких-то идеальных девушках, которых в конце герой-фантаст всегда терял. Я писал в прозе ирреальные повести размера школьной тетради, действие которых происходило в несуществующей стране. Героями были картонные варианты классических персонажей, — Вертер, Фальстаф и другие вели дружбу, беседовали и куда-то пропадали. Их разговоры были полны намеков и остроумия, понятных только в нашем кругу. Левин культивировал жанр отрывка: только одно начало à la пушкинское «Цезарь путешествовал...», но чтоб отделать, как жемчужину (жемчужины не выходило). Или сочинял одно оглавление к роману, но чтоб всё было понятно: предел краткости. Он также переводил Катутула, надеясь издать (ведь перевод А. Пиотровского был повсюду изъят из-за ареста переводчика).

Аудиторию не старались расширять. Однажды я сглупа дал почитать мою поэму знакомому с исторического и забыл попросить не передавать дальше. Поэма попала в комсомольскую ячейку их факультета, и, как мне говорили, секретарь потрясал тетрадкой на собрании и кричал: «Что это за советский молодой человек, которого интересует только любовь, вино и симфоническая музыка!» К счастью, последствий не было.

Рискованных тем старались не брать. Все помнили студента, который осмелился прочесть на факультетском литкружке сонет, обращенный к царевичу Алексею. Его чуть не выгнали из университета. Петр в это время уже прочно ассоциировался с «великим учителем», и, логически, Алексей становился чем-то вроде Рыкова.

Правда, в один из своих бурных приездов из Москвы, Толька привез пьесу, которая явно претендовала на нечто большее, чем стены комнаты. Написанная по рецепту афиногеновского «Страха», она содержала профессора, которого арестовывают и который там, в тюрьме, что-то начинает понимать. Что — было неизвестно. В конце пьесы было настроение, напоминающее концовку «1984» Орвелла. Самым смелым был образ инженера-сексота. Толька бравировал храбростью постановки вопроса, презирал нашу комнатность и посылал пьесу на какой-то конкурс, где ее не приняли. «Последствий» тоже не было.

Мы не только писали. В той же комнате устраивались выставки акварелей, пастелей и гравюр коллег Даньки по архитектурному. Вещи были полны преступного формализма.

«Для себя» читали больше стихи. Прозы у «филолухов» было достаточно в списке обязательной литературы по курсу — от «Эфиопики» до «Прощай, оружие». Это было хорошим предлогом, чтоб не читать советскую литературу, которую откровенно презирали и бойкотировали (даже хорошее). Я до сих пор не читал «Тихого Дона». Только Даньку брат заставлял прочитывать официально признанное; но над ним трунили, если он являлся с восторгами по поводу какой-нибудь «Педагогической поэмы». Левин подводил его к моему буфету с книгами и, ткнув носом в корешок Песталоцци, говорил: «Юноша, вы сперва прочтите вот это». К модному почти всегда относились враждебно. Когда «Анна Каренина» возымела успех в МХАТе, и томик романа появился во всех уважающих себя домашних библиотечках, Рэм демонстративно отнес свою «Анну» на полку в уборную.

В поэзии каждый шел своим путем. Левин с благоговением показывал свои томики Гумилева, к которому мы были равнодушны. Я «открывал» отдельно от других Тютчева с Боратынским, «преодолев» Гейне, которого все мы прекрасно знали в подлиннике (культ немецкой поэзии был еще со школьной скамьи). Рэм всему предпочитал английские баллады. Данька не расставался с книжкой ранних стихов Маяковского, и это пристрастие все мы разделяли. Когда Маяковский был официально объявлен «талантливейшим», мы восприняли это, как кражу у нас. Мимо Есенина проходили без увлечения. Пастернака уважали. Мандельштама знали только по имени. Однажды, из другой компании, попалась к нам «Вторая книга стихов» Заболоцкого с поразившей нас надписью: «Дарю тебе книгу величайшего поэта наших дней». У них, значит, был культ Заболоцкого. Блока все мы любили. Анненского не знали даже по имени. Перед самой войной «открыли» Рильке: случайно попала в руки книжка в переводе А. Биска. Правда, недавняя школьная зубрежка, а теперь «изучательный» подход мешали еще найти свою живую дорогу к «классикам». Но помню, как однажды Левин пришел ко мне взволнованный, пошел прямо к полке, взял Лермонтова, раскрыл на «Думе» и прочитал мне ее вслух от начала до конца. «Ведь это про нас, — сказал он, кончив, — особенно:

Перед опасностью позорно малодушны
И перед властью презренные рабы»



Иногда ходили в Дом Писателя. Знаменитостей там было мало. Неизвестные поэты играли на бильярде или пили водку в буфете. Ахматову видели раза три: на улице, у Акимова в театре, да на вечере памяти Маяковского она читала стихи странной для нас, распевной манерой. У того же Акимова в театре слушали, как Зошенко читал свою пьесу.

Впрочем, в Доме Писателя были интересные диспуты. Запомнилось, как критику, осмелившемуся сказать, что Маяковский ценил Лебедева-Кумача, несколько минут не давали говорить, топоча ногами и улюлюкая; кто-то крикнул: «А вы забыли, как Кумач травил Маяковского при жизни?» Другой раз, на дискуссии о советской поэзии (куда пошли, потому что выступал любимый профессор), среди поэтов и критиков взяла слово троглодитка из самых высоких верхов ленинградского комсомола. Прочитировав из только что вышедшей книжки Ахматовой «Я люблю лебеду и крапиву», она воскликнула: «Разве советский поэт может любить сорные злаки (sic)?» Она явно считала Ахматову дебютанткой в поэзии.

Более часто мы посещали заседания переводческой секции в Готическом зале. Туда публика приходила избранная, и пахло предреволюционным Ренессансом. Читали свои переводы В. Гиппиус, А. Радлова, Фроман и другие. Спорили. Поднимался какой-нибудь «мистико-анархического» вида неизвестный нам блондин и нараспев, как стихи, начинал: «Во всем виноват Александр Блок. Как некий херувим, он несколько занес нам и т. д.» Или же молодой переводчик останавливался в смущении перед рискованным местом в своем переводе «Симплициссимуса» и говорил: «Ну, это я пропущу. Понимаете, всё-таки семнадцатый век». На что дама «бывшего» вида с тиком у правого глаза из шестого ряда басом заявляла: «Читайте, читайте, здесь же не институтки». Нам было странно, интересно и как-то тепло.



Мы с гордостью сознавали себя жителями самого необыкновенного города в мире и в глубине души делили Россию на Петербург и на всё остальное. Остальное было «не то», провинция, нечто в расчет не принимаемое. Петру всё можно простить за этот город, хотя и не он выдумал «блеск безлунный», слегка хмелящий, когда мы гурьбой бродили до поздней

ночи. Особенно любили Невский после того, как трамваи ушли в парк, большую набережную, Литейный, полный лавок букинистов, безлюдные каналы. К Достоевскому на Сенную не заглядывали: рынок там снесен, площадь залита асфальтом. До сих пор мелкие факты юношеской жизни наполняются особым значением именно потому, что они произошли или у Лебяжьей Канавки, или у Ростральных колонн, или у Храма на Крови. Просится на язык невежливое обращение к «непосвященным» читателям: «Ах, что вы понимаете, вы там не бродили».

*

Может быть, даже не литература, а книга объединяла нас больше всего. У каждого в крови была библиофилия. Левин к своему книгохранилищу не подпускал в шапке и в пальто. Там на полках были Гумилев, автографы Блока и утонченно-непристойная «Le livre de la marquise» с рисунками Сомова. Там стоял том Некрасова с пометками Блока, где рядом со строчками

В нем каждый год убийцей был
Какой-нибудь мечты

на полях было написано рукой поэта: «Лермонтов», а перед «Блажен незлобивый поэт» — «Злоба самый чистый источник вдохновения». «Поэт и гражданин» был испещрен подчеркиваниями и пометками и жирной чертой была подведена в уличных сценах строка «Мерещится мне всюду драма».

Я спасал книги отца от конфискации в ванной, в бельевой корзине. Многие издания «Academia» пришлось продать (на стипендию жить было туго), но половина денег, вырученных за книги, шла на книги же. Много часов было проведено на Литейном, где до сих пор ютятся почти все букинисты. Выработывалось шестое чувство. Подходя, знал, что вот именно на той полке найдешь себе книгу.

Покупали и ноты. В них попадались забавные страницы со следами «перестраховки». Вот «Забудь так скоро», где зачеркнуто «Боже мой» и сверху надписано «милый мой». Или рахманиновское «Здесь хорошо», где вместо «здесь только Бог» — «здесь только ты». Самым любопытным был экземпляр «Черной шали», бывший владелец которого решил себя застраховать от всякого обвинения в национальном уклоне. «Презренный еврей» превратился в «презренного старика» (не смотря на рифму), а строка с «армянином» в новой редакции

звучала с изысканным ассонансом в конце: «Неверную деву застал я с другим». Для полноты картины певец уничтожил и вполне безопасную «гречанку», заменив ее «красавицей» (не смущаясь лишним слогом).



По-настоящему мы и не пытались применить творчество в тех начатках исследовательской работы, какую приходилось делать. Поступали по правилам — и только. Я раз попытался в работе о Клопштоке выделить весь марксизм в самое начало, а потом заняться делом — но вышла почти пародия, и я получил строгий выговор от испугавшегося профессора.

Два наших приятеля, к «ядру» компании не принадлежавшие, но вхожие к нам в любое время, попробовали сделать вещь более решительную. Уже в конце третьего курса оба пережили методологический кризис и захотели «восстать». Они считали себя правоверными марксистами, но были уверены, что марксизм следует перерабатывать и развивать. Осторожные профессора (в душе немарксисты) пичкали их фактами, сверху намазывая всем известной историко-материалистической пастой. Два друга сначала хотели уходить из университета, не видя смысла в изучении, но потом решили пойти трудным путем. Целый год, запустив остальные занятия, они грызли новую европейскую философию от Спинозы и Декарта до Гегеля, читая и обсуждая вдвоем. Когда на лекции влиятельный карьерист Плоткин сослался на Гегеля, один из друзей с места заметил: «Гегель такого не говорил» и, прервав лекцию, не вставая, презрительно доложил Плоткину, что именно говорил Гегель (Плоткин ему это потом припомнил). Два друга пришли к своей философии, которая «ничуть не противоречила марксизму». Существует субстрат исторического мышления, для каждой эпохи особый — на этой почве произрастают, как отдельные растения, литература, музыка, экономика («Заметьте, литература растет не из экономики, она рядом, — но стоит на том же общественном мышлении»), политика (о, ересь!), философия. В философии это мышление выступает в наиболее чистом виде, с нее надо начинать. И так далее. Это называлось «синтетической теорией». На экзамене по диалекту оба с треском провалились, хотя знали свои «источники» лучше, чем экзаминаторы. Их обвинили в том, что они находятся «в плену у буржуазной философии». Друзья долго хлопотали по всем инстанциям, пока им не разрешили сдавать вторично. Но больше тройки им всё же не поставили.

Мы философов «ни при какой погоде» не читали, и по диа-
мату имели одни пятерки.

*

Кроме отшельника Рэма, все мы ходили по театрам. «Не
поэт, кто не был театралом». В этих словах Некрасова много
правды.

Даже в моей комнате был однажды поставлен «Белый
ужин» Ростана, где мы с Данькой играли двух Пьеро, а Фрид-
ка Коломбину. Не знаю, хорошо ли играли, но героиня очень
искусно в конце пустила дымовое табачное кольцо — в точ-
ности по ремарке автора.

«Нашим» театром был театр Акимова, что рядом с Елисе-
евским магазином на Невском. В академические театры мы за-
глядывали редко, считали скукой. Говорили, что художе-
ственный с его «бескрылым натурализмом» изжил себя.

У Акимова было весело и интересно, там шли современ-
ные западные пьесы или европейская классика. Особенно
восхищались постановками комедий Лопе де Вега и Шекспира
в искристых переводах Лозинского. Акимовское оформление
было всегда талантливо, с юмором и всё еще с хорошей долей
уже запретного старого доброго формализма. Акимов пускал
нас к себе на репетиции и театральные дискуссии.

Но особенно увлекались мы художественным чтением.
Созданный Закушняком, этот вид театра расцвел в то время
чрезвычайно. Строя подачу на особой, отличной от драмати-
ческой игры, технике, чтец исполняет в течение вечера боль-
шие отрывки или целые произведения, один держа в напря-
жении зрителя. Для нас художественное чтение означало:
Яхонтов. Никто так не читал стихов (да и прозы). Упругая
ритмическая основа, взлеты и спады строчных окончаний, юно-
шеский тембр голоса, скупой жест и немалая доля личного гип-
нотизма — это до сих пор в памяти со всеми подробностями.
Многие строки Пушкина, Лермонтова и Маяковского не мы-
слятся без его интонации. Он любил вводить немногие «аксес-
суары»: бокал Моцарта, шуба Репетилова, зонтик Акакия Ака-
киевича. Его «Петербург» («Белые ночи», «Медный всадник»
и «Шинель») содержал даже какие-то диковинные ножницы.
Яхонтов был изысканным формалистом. Он в совершенстве
пользовался методом монтажа и постороннего вкрапления, не-
ожиданно вставляя платок из «Отелло» в Достоевского, на-
родную песню в «Онегина» или смело ставя рядом пушкинские

«девичьи лица ярче роз» и гоголевский «цвет лица, что называется геморроидальным». Особенно у него выходили женские образы — Натальи Павловны в «Нулине», Татьяны, Джульетты, а лучше всего — Настасья Филипповна, нервно обрывавшая лепестки с хризантем после рассказа Тоцкого.

*

Пропадали мы и в балете. Кому знакомо это стеснение в груди при начале любого адажио из *pas de deux*? Конечно, с галерки балет казался волшебнее. Один раз я попробовал посмотреть «Лебединое» (кажется, чтобы отметить двадцать пятое посещение этого балета) из первого ряда партера — и был разочарован: рисунок танца был наполовину скрыт, каждый лебедь вдруг приобрел отвратительную индивидуальность, грим делал лица кордебалета порочными. Одна Уланова не потеряла и вблизи.

Галина Сергеевна занимала в нашей жизни особое место. Спорить тут было не о чем. Это было за пределами балетного жанра и касалось каких-то самых важных начал искусства вообще. Слова начинают нестерпимо фальшивить, когда говоришь о ней. Описать ее танец вряд ли можно. Достаточно сказать, что Шекспир дошел до меня не когда я прочитал перевод Щепкиной-Куперник, а когда я посмотрел прокофьевский балет. Там, в первом акте, на балу, она стояла в арабеске и смотрела в глаза Ромео несколько секунд, не двигаясь, и всё же вы могли указать пальцем те полсекунды, тот миг, когда в Джульетте зарождается любовь. Лебедь, Жизель, Джульетта, Аврора, Маша, Мария — дело не в танце (танцовали и лучше ее), а в чем-то, чему нет имени: в беззащитности, в робком, одной головой (прижавшись спиной к занавесу) раскланивании у рампы. Во всяком случае, к ней мы относились особо. Обычные проявления поклонничества: букеты, аплодисменты, попытки познакомиться — казались тут вдвойне пошлыми. На нее можно было только смотреть и потом хранить то, что видел.

Моя маленькая сестренка презирала «культурную» тенденцию комнаты, играла в лапту с мальчишками во дворе и упорно произносила: «Я помню чудное мгновенье». Я принимал все меры, чтоб она не выросла бревном: рассказывал страшные сказки (чтоб плакала), водил в Эрмитаж, давал читать любовные романы. Не помогало. Тогда я повел ее в балет, и старый друг балет не подвел: она влюбилась в Сер-

геева на «Ромео и Джульетте». Через неделю сестру нельзя было оторвать от «Виктории» Гамсуна.

*

В Филармонии наше место было на хорах с левой стороны, в четвертом или пятом промежутке между колоннами. На хорах была особая публика. Если внизу, в партере, восседала советская «интеллигенция» с деньгами, — актеры, музыканты, писатели, — то наверху стояло студенчество вперемежку с людьми из дореволюционных романов: какие-то бородатые умноглазые люди толстовского типа, какие-то дамы в трауре, какие-то старички, старушки, одетые с чистой бедностью. Глаз сверху скользил по партеру, отмечал знаменитостей: вот Шостакович с женой, вот певец Ершов, вот трагик Юрьев. За пультом наш любимец Мравинский, похожий на Дон-Кихота в молодости. Прямо на нас смотрели медные духовые, и эта часть оркестра на нас особенно действовала. Нельзя было оставаться равнодушным, когда тромбон вел в Третьей Малера свое соло, которое мы называли «влюбленным бронтозавром» или когда труба чертила свой странный график по ткани скрябинской «Поэмы экстаза», но больше всего когда там же в финале все восемь валторн поднимали свои раструбы вверх. Волна звука опрокидывала физическим напором. После «Поэмы» на хорах было, как после битвы. Все пришиблены, кто-то безумно шагает взад-вперед с взлохмаченными волосами, кто-то сидит с неподвижным взглядом, девушка плачет. Забывали бежать за калошами в гардероб.

Недавно, прослушав «Поэму» уже здесь, не ощутил никакого «экстаза». Показалась аморфной и даже неинтересной.

* * *

С галерки Марининского театра смотрелась также и опера, хотя Ленинград ею гордиться не мог. Необыкновенной была только Преображенская, лучшая Марфа в «Хованщине», мать многочисленного семейства, прибавлявшегося каждый год, и владелица молочной фермы где-то под Лугой, — женщина типа матери-земли Юнга. В Михайловском пели еще хуже, но зато там Мейерхольд ставил «Пиковую даму» (запомнилась до последней детали), там шла «Леди Макбет Мценского уезда», пока ее не запретили.

Музыка была и у меня в комнате. Мы знали многие оперы

наизусть (не считая сотен романсов), и когда не шли в театр, могли спеть их от начала до конца сами. У нас был даже оркестр. В старых игрушках у сестры оказалась дудка с восемью тонами гамм, где только си звучало на полтона ниже (фабричный брак). Чегодаев написал концерт в фа-мажоре для этой дудки с оркестром. Оркестр состоял из пианино, чегодаевской мандолины, старой гитары и хора, вокализировавшего с закрытым ртом.

У нас были и свои песни. Одна из них стала нашим «национальным гимном», хотя забрела она к нам из другой компании. Это была песня о небывалой стране Мичуан Люри:

Мичуан Люри, Мичуан Люри,
Солнечно синий,
Мичуан Люри, Мичуан Люри,
Край мой счастливый.

Над страную той в темноте ночной
Звездные дали,
На краю земли, в Мичуан Люри
Слез не видали.

И проходят, знай, тот счастливый край
Бури и грозы,
Чтоб весь год цвели в Мичуан Люри
Синие розы.

Есть там корабли, что без страха шли
Бурею пенной,
Чтоб найти вдали, в Мичуан Люри
Край незабвенный.

Люди годы шли в духоте, в пыли,
В смерч и в ненастье,
Чтоб найти вдали, в Мичуан Люри
Родину счастья.

Над страную той летом и зимой
Легкое небо.
И тебе и мне хватит в той стране
Счастья и хлеба.

Ты не плачь, малыш! Над железом крыш —
Дождик, туманы.
Вот весна придет, мы пойдем в поход
К солнечным странам.

И ты скажешь: Я уйду, друзья,
Будьте здоровы,
На краю земли, в Мичуан Люри,
Встретимся снова...

*

В Эрмитаж мы с Левиным ходили раз в месяц обязательно. Равнодушные к античным обломкам и темным египетским мумиям, мы пробирались на поклон к леонардовой «Мадонне Литта» и долго молча стояли перед ней. Потом Левин забежал к своему любимому Рубенсу, где девочки-школьницы «культурно» слушали лекции гида о золотой гамме красок на теле Вакха, осторожно косясь на писающего мальчика на первом плане. Меня жировые складки рубенсовских сирен не привлекали, и я ждал Левина рядом, в Вандейковском зале, в который раз любуясь руками на его портретах. Потом мы опять вдвоем проходили через испанские залы, задерживаясь перед «Распятием» Зурбарана. Итальянцев бойкотировали, после того как Политбюро продало американскому миллионеру нашу любимицу — тицианову «Венеру перед зеркалом». Под конец начиналось самое главное: мы входили к французам. Оба застывали у Пуссена, я отставал на Ватто, а Левин у Фрагонара. Наконец, мы поднимались на следующий этаж — в XIX и XX век. Уже на Делакруа краски начинали будоражить. Когда входили к импрессионистам, можно было дышать полной грудью. В двух последних залах висели Матисс и Пикассо-кубист. Сердце уже так билось, что приходилось утишать его, спускаясь обратно к Грезу.

*

Специалист по социальной психологии, которому уже давно надоед¹ мой каталог времяпрепровождений пятерки студентов из Ленинграда конца тридцатых годов девятнадцатого века, спросит: как вы относились к окружающему? было ли у вашей группировки политико-социальное (или социально-политическое) лицо? имелось ли у вас самосознание, хоть в зачатке? В зачатке оно имелось. Мы сознавали, что имеются «другие» — и этих «других» не чуждались, даже приглашали на наши вечера. Те — странно — чувствовали себя польщенными. К нам были даже дружелюбны. Когда пришлось на от-

¹ В оправдание: пусть вспомнит, сколько томов понадобилось Прусту для того же самого.

крытом собрании поступать в профсоюз, кто-то бросил мне из публики: «А как вы относитесь к тому, что у вас арестован отец?» Меня прошиб пот, и я несколько секунд молчал. Сбылся кошмар публичного отречения от родителей. Но в это время один из «дружелюбных других» проронил: «А как бы вы относились?» Я был спасен. Церемония пошла гладко, хотя вопрос, спасший меня, был двусмыслен, по меньшей мере, и ничего не разрешал.

Мы были чем-то вроде «попутчиков». Были согласны в принципе, морщились на многочисленные «детали», где-то внутри чувствовали, что *the time is out of joint*, но опасались признаваться себе в этом. Во всяком случае антисоветски мыслящих в компанию не допустили бы. Их избегали, если приходилось встречаться. Боялись.

В революции сомнений не было, хотя к «конкретной действительности» отношение было иногда резко критическим. «Доксы» (сокращение от «ортодокс»), начиная с «Вождя и Учителя» и кончая отсеком или просто правоверным юношей, были объектом постоянной иронии, а то и прямого издевательства (между собой, конечно). Нинка делила «доксов» на кончающих речи на собрании словами «Да здравствует товарищ Сталин, который ведет нас от победы к победе» и на тех, которые кончают «...от победы к победы». Подразумевалось, что «докс», кончавший эту фразу по всем правилам грамматики, тем самым уже переставал быть «доксом».

Но в подполье мы не шли. Да и не знали о таком.

Трудно сейчас многое вспомнить: очень изменился. Как тогда думал, как чувствовал? Ясно сформулировать, значит, солгать. У юности нет твердых взглядов. Сейчас, в эмиграции, многие фантазируют о своей твердой антибольшевистской платформе там. У нас такой «платформы» не было, даже считали, что принимаем официальную линию. Но, как шелуха, это всё отвалилось на следующий день после того, как оказался здесь (без всяких кризисов). Это очень важный факт. В нем лежит большая надежда.

Но тогда, повторяю, не бунтовали. Не бунтовали бы, думаю, если бы даже была причина. Не хватало — во имя чего. В самом деле, во имя чего? Государя императора, великой Родины, всемирного правительства? Ни одно из этих понятий не имело значения. Они пришли потом. Не веровал тогда и в Бога (вернее, думал, что не верую).



Один раз мы ясно осознали себя единством. И струсили. Одна дама, доцент истории, заинтересовалась нашей компанией и решила «свести» ее с другой литературной группой, более официальной, так как она собиралась в Доме Культуры и ее вел один известный литературовед. Мы явились в полном составе. Нас встретили враждебно. Прыщавые юноши, хамоватые под Есенина. Они читали стихи. Что-то вроде тра-та-та́ тра-та-та́ тра-та-та́ — с крестьянской тематикой. О деревеньке, «где я вырос парнишкой глухим». Левин не выдержал и заметил, что слово «глухой» не совсем подходит. Автор обозвал его дураком. Потом выступали мы: Рэм читал стихи («...В эту бы ночь любить и надеяться, Сердце бросать в кипящую серу. Я бы хотел быть последним индейцем, Чтобы любить в предпоследнем Перу»). Данька прочел рассказ, я — переводы из Горация, Левин — поэму. Оказалось, что у них в группе борьба партий, и «оппозиция» нас признала. Приглашали на литературный вечер на дому, но Левин отсоветовал. Еще пришлют какую-нибудь программу, даже, не дай Бог, политическую. Решено было на тот вечер не ходить, дабы не оказаться в роли «знамени». Но после этой встречи мы на время осознали себя маленьким государством с точными границами, со своим лицом. Даже думали назваться.

Однажды Данька, в новой шляпе, подаренной ему на рождение, шел по улице и громко упражнялся в произношении слова *fromage*. Когда он поравнялся с прислонившимся к стене пьяным рабочим, тот со всей силой пролетарского презрения сказал Даньке: «Эх, ты, промаш в шляпе...» (не привожу слов полностью). Мы хотели назваться Промаш. Выходило вроде Сельмаш. Звучало даже ортодоксально.



Трудно писать о личных отношениях. Это уже материал для романа, даже для нескольких. Кто их будет читать? Конечно, влюблялись. Но для описания этой стороны надо было еще в середине решить проблему *Dichtung und Wahrheit* и перейти на третье лицо или перемешать героев. Ведь глупо писать «я подумал» и пошло писать «я поцеловал». Безвкусно, как всякое приближение жизни к искусству.

Когда пишешь в прозе, трудно не делать выводов, обобщений. Кажется, только Пушкин умел избежать этой западни. Сам Лев Толстой не удержался от «максимы» в начале «Анны».

Мыслитель, бросив взгляд на этот автопортрет, наверняка скажет со строгостью судьи и гражданина: как неглубоко жила эта молодежь. И он будет прав. Для чего мы были? Не знаю. Чего мы хотели? Главным образом: остаться при университете в аспирантуре. Что мы знали? Приблизительно, что я описал. Чего мы не знали? Многого. Например (называю наугад), Библии, Хиндемита, Бердяева, Фолкнера, Эмили Дикинсон, Леонтьева, Утрилло, Цветаевой... Что нас объединяло? Незнание дороги, презрение к «доксам», любовь к искусству, к Петербургу, а главное, может быть, беспечность, двадцатилетнее легкомыслие. Типичны ли мы? Не знаю. В других группах и компаниях были, наверное, иные вкусы, иные нравы. Мы их не знали, они не знали нас.

Война ничего не поправила. Кое-кто испытал подъем патриотизма. Мне потом рассказывали, что один знакомый (совсем неглупый малый) высунулся из окопа только, чтобы крикнуть «За родину, за Ста.....» и пал, сраженный немецкой пулей, не закончив фразы. Трудно представить глупее смерть. Другие пережили настроение пира во время чумы. Ваня Харитонов, лучший математик нашего класса, сухарь еще в детстве, будущий чинуша, ходил на оргии, которым предавалось юношество Ленинграда, когда было еще что пить. Так это поколение и погубило: в окопах ополчения, невооруженное и необученное, под немецкими пулеметами или же от голода в зиму осады.

Немногие случайно уцелели, как я, — и теперь вспоминают. Но можно ли доверять этому воспоминанию? «Память активна, в ней есть творческий, преобразующий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания» (Бердяев). Больше: сначала искажает восприятие, потом память, потом воображение, и получится чорт знает что. Я беру обратно слова, которыми начал эти записки, и хочу предостеречь бывших участников циммервальдской конференции против использования написанного мной в качестве документа. Я очень многое просто наврал. Например, на встрече с «другими» поэтами это я читал поэму, а Левин переводы из Горация, а не наоборот. Фридка в Латвию не ездила и той фразы мне на ухо на улице

не говорила, а сказала это одна актриса и совсем не мне (хотя тоже на ухо и тоже на улице). Да и в физкультурном зале на выпускном вечере я сидел у окна вовсе не с Нинкой, а с Валей Хохловой, девушкой, которую я потом потерял из виду. А в именах я так напутал, что даже Министерство Государственной Безопасности не разберется.

Есть и другие искажения. Я уже давно в процессе написания этих очерков заметил, как тщательно пропускаешь всё неприятное. Очевидно, каждому хочется иметь золотое детство любой ценой. А может быть, оно для памяти всегда золотое, какое бы оно ни было. *Forsan et haec dim meminisse juvabit.* «Хорошо, это в памяти; а тогда? Вы не хотели тогда бежать от невыносимых и т. д.?» — От чего же бежать: от комнаты, от Улановой, от юности? Кто от такого бежит, да еще в двадцать лет? А что человек лучше помнит хорошее, чем плохое, это, кажется, даже научно-установленный факт. Неужели хотите, чтоб и вспомнить было нечего? Есть такие, кому нечего. Мне их жаль.

«Хочется ли вам на родину?» Родина-то ведь юность. Какой Мефисто вернет ее? А кусок земли, на котором написано «СССР», меня мало интересует. Там живут чужие люди. Даже те, кого знал, совсем другие. Вот я наткнулся в советском литературном журнале на стихи — о Сталине, об электростанциях. Подписано знакомым мне именем. Да ведь она же в университете кокаин нюхала! Когда я зубрил марксизм перед экзаменом, она надо мной издевалась. Ходила тощая такая, неуклюжая, с пронзительными глазами, окружающее презирала, а советскую действительность и подавно. И вот она признанный начинающий поэт, пишет об электростанциях. После Бодлера-то. Нет, на эту родину я не хочу. Там нет ничего, если там не осталось моей юности.

Но вряд ли запретят мне любить мою юность блюстители, которые уже давно недовольны, что я ничего не пишу о кацетах. Там были и такие компании, что я описал. Их трудно «интегрировать» в знакомую всем по газетам жизнь. Они — шампиньоны, зачем-то и почему-то выросшие под солнцем сталинской конституции.

•

Там сейчас утро. Мой двойник с портфелем висит на подножке переполненного трамвая. В восемь начинается лекция по политической экономии. Будут неприятности, если опозда-

ешь. «Всё по-старому, бывалому, да только без меня». А двойник этого двойника в Калифорнии ложится спать. Десять вечера. И начинается знакомый сон. Я — там. Иду по улице. Как бы скрыть, что был за границей. Вижу друзей. Сказать бы о том, что видел за эти годы — но не знаешь, как примут, и так уж смотрят подозрительно. Наконец, решился рассказать, но как раз в этот момент что-то происходит, что-то мешает — и я так и не рассказал. А потом начинается другой, менее знакомый сон, и его почти нельзя припомнить, когда проснешься.

**ПРИМЕЧАНИЯ
РАЗНОЧТЕНИЯ**

ПРИМЕЧАНИЯ

РАЗНОЧТЕНИЯ

СЛОВНО НА ОТКРЫТКЕ ДЛЯ ТУРИСТА. Впервые в журн. «Грани», 1951, № 11, стр. 112.

КОНЕЦ ВОЙНЫ. Впервые там же, стр. 113.

ОБЫЧНЫХ СЛОВ БОИМСЯ МЫ С ТОБОЮ. Впервые там же, стр. 113.

БЕЛЫЙ ТРАУР. Впервые там же, 1947, № 3, стр. 20.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. Впервые там же.

СТИХИ. Впервые в издательстве «Эхо» в Западной Германии, 1947.

ПОДЪЕЗЖАЯ К АМЕРИКЕ. Впервые в сборнике литературно-художественного кружка в Сан-Франциско «У Золотых Ворот», Oakland 1957, стр. 171.

ЛОСАНЖЕЛОССКИЙ ВЕРЛИБР. Впервые в сборнике «Содружество», Вашингтон 1966, стр. 303.

ГУРИЛЕВСКИЕ РОМАНСЫ. Впервые в журн. «Новый журнал», 1951, № XXV, Нью Йорк, стр. 88 - 120. Отдельной книжкой «Гурилевские Романсы» вышли в Издательстве имени Ирины Яссен «Рифма» в Западной Германии в 1960 г.

Разночтения в «Новом журнале»:

Стр. 89:

Первой главе предпосылаются следующие два эпиграфа:

Ist es möglich, daß es Leute gibt, welche
„Gott“ sagen und meinen, das wäre etwas
Gemeinsames?

R. M. RILKE

Home is where one starts from.
As we grow older, the world becomes stranger.

T. S. ELIOT

Стр. 90: После 9-ой строки (Очертанья изменяя):

Через улицу напротив
Старика в окне увидишь:
Он сидит, склонясь, часами
Над какой-то толстой книгой,
А потом часами пишет,
И в лице его — глубины
Смутной грусти постиженья.

Стр. 92: В 3-ей строке вместо «пестрых» — «серых».

Стр. 93: После 13-ой строки (Чем-то чуть напоминая):

Я скрывался в темный угол.

Стр. 96: После 2-ой строки (Мимо нив, кустов, оврагов):

Что-то про себя мурлыча
И репейникам головки
На ходу сбивая палкой
Да дорогу уступая,

Стр. 97: После 24-ой строки (На заброшенную старость):

Только в детстве мы и жили,
А потом мы ощущали,
Мыслили, имели мнение,
Бились, мучили, страдали
И с другими соглашались.

После 28-ой строки (Пальцы выпачкаешь красным):

Как ловить налимов в речке,

Строки 30 и 31 стр. 15 и первые 5 строк тр. 16 в журнальном варианте следуют за вставкой на стр. 16 (Есть омлет, какой – жаркое).

Стр. 98: После 17-ой строки (Очень трудно, очень сложно):

Вот и мне – неловко в жизни,
Потому что в раннем детстве
Мне наверно позабыли
Указать, какую вилкой
Есть омлет, какой – жаркое;

Стр. 101: В 10-ой строке вместо «прощаясь, надевала» – «прощаясь, надела».

Стр. 103: В 11-ой строке вместо «в каком обличье» — «в какую форму». 12-ая строка: вместо «Наконец предстанет образ» — «Мне облечь свои страданья». 17-ая строка: Вместо «Точным словом, звонким словом» — «Точным, звонким, с дрожью словом».

Стр. 104: Вместо строк 26 и 27:

Знают о такой свободе
Знатоки программ партийных?

Так он думал – беззаботно
И, по существу, неверно.

А быть может, и другое
Ум героя занимало.

Стр. 105: После 4-ой строки (Не желая закруглиться):

Он важнее, этот локон,
Тысячи идей, теорий,
Кризисов и революций.

Так он думал — беззаветно,
Нежно, трепетно, влюбленно,
Но неправильно, конечно.

После 15-ой строки (Словно рыба на поляне):

Такова судьба изгания.
Мы — без завязи соцветья,
Мы — безлиственные лозы,
Апатриды, штатенлозы.
В этом мире нет подарков.
Долгожданную свободу
Мы большой ценой купили,
В неизбежную придачу
Получив бесплодье духа.
А на бедном белом свете
Будет всё итти, как прежде:
Вечно кто-то будет править,
Исторически законно
С подданных сдирая шкуру;
Декабристов будут вешать
За прекрасные идеи,
За бездарность воплощенья;
А тоскливых эмигрантов
Будет вечно гнать по свету.
В партиях и комитетах,
У идей, движений, армий,
Примыкая, возглавляя,
Копошась, организуя, —
Будут докучать туземцам
И свою ничтожность тешить.

Так он думал: безысходно,
Гневно — и несправедливо.

Стр. 108: Вместо строк 11 - 16:

Там наверно нет бараков,
Нет гудков автомобильных,
Нет калорий, конференций,
Нет бензина, патефона, —
Нет благих завоеваний
Просвещенного столетья,
Где политика с наукой
Из людей насоздавали
Злых и пошлых автоматов,
Где поэты в умных строках
Душу рвут тебе на части,
Где в скульптурах и картинах
Сбились плоскости предметов,
Мир сместился, словно души
Разлагаются, как атом.

Очень мало в жизни солнца,
Очень мало в жизни света,
И поэтому понятно,
Как цепляешься за что-то,
Если только ^{удается}
Отыскать крупицу света —

Стр. 111: в 6-ой строке вместо «Пролегла одна бороздка» — «Появилась морщинка». В 8-ой строке вместо «появились» — «проложились». В 10-ой строке вместо «где брови собирались» — «куда хотели брови». В 14-ой строке вместо «Обе сгладятся, исчезнут» — «Этих двух морщин не будет».

Стр. 113: В 6-ой строке вместо «нею» — «Нею». В 13-ой строке вместо «Я заснула. Я заснула.» — «Язаснула-

язаснула.» По сообщению Вл. Маркова именно так, т. е. слитно, надо было бы напечатать.

Стр. 114: После 18-ой строки (Как бы написать поэму):

Обо всем, что есть на свете;

Стр. 115: После последней строки (Все, чего не могут речи):

Это после, а вначале
Сырость, дрожь и ожиданье.

Стр. 116: Перед 4-ой строкой «Она:», перед 7-ой строкой «Он:» и т. д. до конца главы.

Стр. 120: В 4-ой строке вместо «возвращенье» — «возвращеньи».

Стр. 122: В 11-ой строке вместо «этот» — «это». В 26-ой строке вместо «словно в косах ленты» — «словно сарафан». В 28-ой строке вместо «грустных» — «скучных».

Стр. 123: В 7-ой строке вместо «Может», то была Россия? ..» — «Не была ли то Россия? ..»

Стр. 124: 5-ой строки (О «товарищах — потомках») в оригинальном варианте нет. В 7-ой строке вместо «потомство откопает» — «потомки откопают».

Стр. 125: После 8-ой строки (Почему? Ответить трудно.):

Почему ходил философ
С фонарем при свете солнца?

После 18-ой строки (За окном — дома и полочь.):

И дома — совсем чужие.
В них пуховики и трубки,
Пфенниги, тупые ахи

И захлопнутые двери
Перед бледным оборванцем,
Возвратившимся из плена.

Стр. 126: После последней строки:

Германия

1948

ПОЭМА ПРО АД И РАЙ. Впервые как поэма без названия в «Опытах», № 4, 1955, стр. 6 - 20.

Первая часть поэмы, слегка измененная и сокращенная автором, появилась вторично в альманахе «Содуружество» [Сост. Татьяна Фесенко], Вашингтон 1966, стр. 296 - 303. Здесь она воспроизводится по этой переделанной версии.

Разночтения в первоначальном варианте:

Стр. 128, строки 13 - 16:

На ад наклеветали,
Там всё знакомый люд:
Любуются на дали
И деньги в банк кладут.

Стр. 129, строки 1 - 2:

Лик сединой одеда
Густая борода.

После 4-ой строки:

Стою, склонивши выю.
Да... Годы проживя,
Я встретился впервые
С вопросом, кто же я.

В 13-ой строке вместо «он» — «что». В 15-ой строке вместо «Там» — «Где».

После 24-ой строки:

И в кафедральном свете,
В альтах бегущих месс
Я просто не заметил
Бомбежек и SS...

Стр. 130: В 12-ой строке вместо «с навязанной клюкой» — «(Таков почти любой);».

После 18-ой строки:

То снова усомнился,
За тот ли взялся гуж,
То ясно, что родился
В век выхолощенных душ.

Как надо им немного:
Поставь да разогрей; —
Без музыки, без Бога
И даже без зверей.

И вот уже не видно,
Добро тут или зло,
Одно лишь очевидно, —
Что мне не повезло!

Стр. 131: После 14-ой строки:

И ужас телеграфный
В ином огне сгорит,
И облик нежной Зафны
Вновь дебри озарит.

В 19-ой строке вместо «Не стану слушать бредь я, —»
— «Ты будешь петь столетья, —». В 24-ой строке вместо
«Приму вердикт суда» — «Коль жаждете суда».

Стр. 132: Вместо строк 5 - 6:

Святей небесной рати,
Светлей, чем горний свет, —
Но я ее утратил, —
С тех пор покоя нет.

Мне Петр: «Вот так же жарко,
Тому премного дней,
Говаривал Петрарка,
Но лучше и стройней.

Тут пребывают в вере,
Сюда не всякий вхож,

В 10-ой строке вместо «конечно» — «наверно».
После 12-ой строки:

Качаешь головою,
Не хочешь мне сказать.
У ней лицо такое,
Что каждый должен знать.

В 13-ой строке вместо «Нет времени на притчи» —
«Нам тут не до отличий».

ОДНОСТРОКИ. Впервые в альманахе «Воздушные
пути». Алманах III (ред. — изд. Р. Н. Гринберг), Нью
Йорк 1963, стр. 242 - 245. «Трактат об одностроке», ко-
торый следует за одностроками Вл. Маркова на стр.
245 - 258, здесь не воспроизводится.

ET EGO IN ARKADIA. Впервые в журнале «Новый
журнал», № 42, 1955, стр. 164 - 187.

